5 ББК
папка II
№ 9

ИЗДАНІЕ
Акціонернаго Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дѣла.

А. Богомолецъ.

Къ характеристикѣ новыхъ теченій въ области русской мысли.

М. Горькій и его „НА ДНѢ“.

„МЫСЛЬ“ Л. Андреева.

Два критическихъ очерка.

Цѣна 30 коп.

ОДЕССА.
Типографія Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дѣла.
(Пушкинская, соб. д. № 20).
1903.

ИЗДАНІЯ

Акціонернаго Южно-Русск. Об-ва Печатнаго Дѣла

(Одесса, Пушкинская, № 20).

„Библіотека Общественныхъ Знаній".

Серія I.

Вып. 1-й. **Бруно Шенланкъ. Промысловые синдикаты.** *Изданіе 2-е.* Ц. 20 коп.

Вып. 2-й. **М. Шиппель. Техническій прогрессъ** въ современной промышленности, переводъ Л. М. Зака. *Изданіе 2-е.* Ц. 20 к.

Вып. 3-й. **М. Кампфмейеръ. Кустарная промышленность** въ Германіи, переводъ І. Гербера. Ц. 25 коп.

Вып. 4-й. **С. Сергѣевъ. Русскій рубль,** его исторія и экономическое значеніе. Ц. 40 к.

Вып. 5-й. **В. Ст. Джевонсъ. Металлическія деньги,** переводъ Л. С. Зака. Ц. 30 коп.

Вып. 6-й. **В. Ст. Джевонсъ. Бумажныя деньги,** переводъ Л. С. Зака. Ц. 30 коп.

Вып. 7-й. **К. Гельферихъ. Вопросъ о валютѣ** (критика биметаллизма), переводъ А.—ковскаго. Ц. 30 к.

Вып. 8-й. **Поль д'Эстурнелль де-Констанъ. Грядущая опасность** (Европа и ея соперники), переводъ А. С. — Ц. 25 к.

Вып. 9-й. **Ф. Кс. Нейманъ-Спаллартъ. Протекціонизмъ и всемірное хозяйство** (Критика системы покровительственныхъ пошлинъ), переводъ Л. С. Зака. Ц. 20 к.

Вып. 10-й. **С. Сергѣевъ. Вопросы русской промышленности.** Ц. 40 к.

Вып. 11-й. **Л. С. Закъ. Народныя переписи.** Ц. 30 к.

Серія II.

Вып. 1-й. **Бюхеръ. Женскій вопросъ въ средніе вѣка,** переводъ Л. С. Зака. Ц. 20 к.

Вып. 2-й. **Генрихъ Буль. Борьба за землю въ древнемъ Римѣ,** переводъ С. Сергѣева. Ц. 20 к.

Вып. 3-й. **Дж. Руссель. Народные университеты** въ Англіи и Америкѣ, переводъ Л. С. Зака. Ц. 50 к.

Вып. 4-й. **Адольфъ Позада. Очеркъ современныхъ теорій** происхожденія семьи, общества и государства, переводъ Л. С. Зака. Ц. 50 к.

Вып. 5-й. **Л. Гейгеръ. Открытіе огня,** пер. Л. С. Зака. Ц. 15 к.

Вып. 6-й. **Л. Гейгеръ. Значеніе языка** въ исторіи развитія человѣчества, переводъ Л. С. Зака. Ц. 15 к.

Вып. 7-й. **Г. де-Ривальеръ. Очерки современнаго французскаго общества,** переводъ М. А. Б. Ц. 25 к.

См. 3-ю страницу обложки.

Б. М. I. 8. 2.
№ 2

ИЗДАНІЕ
Акціонернаго Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дѣла.

А. Богомолецъ.

Къ характеристикѣ новыхъ теченій въ области русской мысли.

М. Горькій и его „НА ДНѢ“.

„МЫСЛЬ“ Л. Андреева.

Два критическихъ очерка.

Дон. Гос. Ун-т
Научная
Библиотека им.
Горького

БИБЛІОТЕКА
О-ва для достав. средствъ
В. Ж. КУРСАМЪ.

10948 русск. кн.

ОДЕССА.
Типографія Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дѣла.
(Пушкинская, соб. д. № 20).
1903.

3682/Б. М.

Дозволено цензурою. Одесса, 17 Мая 1903 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Оба предлагаемые вашему внима нію, читатель, очерка были разновременно прочитаны въ Одесскомъ Литературно-Артистическомъ Обществѣ и вызвали оживленныя пренія. *)

Ни возраженія оппонентовъ, ни статьи критиковъ разныхъ толковъ и направленій, болѣе или менѣе не хладнокровно толковавшихъ о Горькомъ и Андреевѣ, не поколебали моей увѣренности въ томъ, во-первыхъ, что главной задачей критики должно быть прежде всего объясненіе причинъ того или иного отношенія публики къ данному художественному произведенію, — и въ томъ, во вторыхъ, что разгадку успѣха разбираемыхъ произведеній нужно искать не въ художественныхъ ихъ достоинствахъ, а въ тѣхъ идеяхъ и настроеніяхъ, которыя въ нихъ отражены и которыя крайне характерны для переходнаго, полнаго жизни и движенія историческаго момента, нами переживаемаго.

А моментъ, дѣйствительно, интересный. Старое трещитъ по всѣмъ швамъ, новое растетъ и вширь и вглубь, сталкиваются противоположные нужды и интересы, напрягается энергія... И вся эта сумятица отражается въ общественномъ сознаніи, будитъ мысль, рождаетъ новые запросы, создаетъ своеобразную идеологію.

Будучи горячимъ сторонникомъ свободнаго, самодовлѣющаго искусства, я, тѣмъ не менѣе, думаю, что всякій истинный художникъ, живущій въ *такое* время, уже въ силу утонченности своей художественной организаціи не вольно долженъ отозваться на новые запросы, не можетъ не дать на нихъ посильнаго отвѣта въ своихъ произведе-

---

*) Напечатано въ „Одесск. Новост.“ отъ 8 Ноября 1902 г. и 14 и 15 Марта 1903 г.

ніяхъ, хотя бы о такомъ отвѣтѣ и не помышлялъ. Я готовъ даже согласиться съ г. Невѣдомскимъ*), что искусство „*обязано* (курсивъ мой) зачинать въ своемъ таинственномъ лонѣ тѣ элементы будущихъ представленій и понятій, безъ которыхъ не было бы новаго пониманія жизни, новыхъ итоговъ, новой жизни, стало быть".

И благо художнику, сумѣвшему исполнить эту *обязанность*.—Творенія его будутъ расходиться въ десяткахъ изданій, какъ расходится „На днѣ" М. Горькаго, будутъ возбуждать немолчные споры, неослабѣвающій интересъ, какіе возбуждаютъ произведенія Л. Андреева.

Благо такому художнику и потому еще, что, подобно древнему пророку, онъ въ десяткахъ тысячъ душъ посѣетъ сѣмена новаго міропониманія, новой, нужной для жизни мысли...

Выполненіе этой обязанности, т. е. созиданіе новаго пониманія жизни изъ еле народившихся его элементовъ, и составляетъ главную заслугу г.г. Горькаго и Андреева,

Въ ихъ произведеніяхъ всего рельефнѣе отражены новыя теченія въ области русской мысли. Какія это новыя теченія, каковы ихъ характерныя черты, надѣюсь, мнѣ удастся показать въ послѣдующемъ изложеніи, къ которому и прошу васъ перейти.

Авторъ.

*) „Міръ Божій". Апрѣль 1903 г.

М. Горькій и его „На днѣ“.

I.

Если Горькій по общему признанію—властитель нашихъ думъ, то причины этого нужно искать, по моему глубокому убѣжденію, не въ художественномъ его талантѣ, безспорно весьма значительномъ, не въ его индивидуальности, а въ объектахъ его творчества, и именно въ тѣхъ изъ нихъ, которые отражаютъ идеалы и настроенія переживаемаго нами времени.

Горькій даетъ намъ яркія и сильныя изображенія животной стороны человѣка, особенно радостнаго чувства сознанія жизни и силы; есть у него и любовь, и ревность и честолюбіе, но все это не главное, все это носитъ характеръ второстепенный и подчиненный тому главному, что одно объясняетъ безпримѣрную славу нашего поэта—самородка и о чемъ рѣчь впереди.

Что общаго между римляниномъ, задрапированнымъ въ свою toga virilis, рыцаремъ, закованнымъ въ желѣзныя латы, вельможей Людовика XIV въ цвѣтномъ кафтанѣ, современнымъ

европейцемъ въ сюртукѣ или фракѣ? Еще болѣе, чѣмъ одежды, разнятся ихъ чувства и настроенія. Однако есть великаны художественнаго творчества, умѣющіе проникнуть сквозь наружный покровъ, наброшенный прихотливой исторіей на душу человѣка, въ самую глубь этой души, обнажить то основное и неизмѣнное въ ней, что обще всѣмъ временамъ и народамъ.

Горькій не таковъ. Его творенія не долговѣчны. Пройдутъ годы, десятки лѣтъ,—и они будутъ забыты, и развѣ ученый историкъ заглянѐтъ въ нихъ, да и то не на долго. Значитъ-ли это, что слава Горькаго раздута, что не стоитъ онъ поклоненій, что не надо зачитываться имъ? О нѣтъ, тысяча разъ нѣтъ. Горькій нашъ! Чуткой душою своею откликается онъ на всѣ вопросы исторической дѣйствительности, подхватываетъ и воплощаетъ въ образахъ уже носящіеся въ воздухѣ, но еще не сознанные идеалы и настроенія, и тѣмъ чаруетъ и неотразимо влечетъ насъ впередъ къ прекрасному будущему. Въ этомъ значеніе Горькаго, въ этомъ его неоцѣнимая заслуга.

II.

Какіе идеалы и настроенія отражаетъ Горькій? Чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ, остановимся на одну только минуту на объектахъ его творчества. Кто проходитъ передъ нами въ его произведеніяхъ? Начиная отъ „Макара Чудры“ и кончая „На днѣ“, все тѣ же босяки, бывшіе люди, воры, проститутки, мастеровые и изрѣдка

лишь крестьяне, купцы и ужъ совсѣмъ, совсѣмъ рѣдко проскользнетъ интеллигентъ и всегда далеко не въ розовомъ освѣщеніи.

Среди нашей читающей и даже поклоняющейся Горькому публики утвердилось недовѣріе къ тому, чтобы изображенія его были вѣрны дѣйствительности. Все у него романтизмъ, все—неправда, все—идеализація. Но, господа, это—печальное недоразумѣніе. Мы все еще не далеко ушли отъ міросозерцанія того времени, когда едва успѣла разорваться великая цѣпь, ударивъ однимъ концомъ по барину, а другимъ по мужику. Мы все еще вѣримъ въ силу критической личности, въ то злосчастное и уже не разъ осмѣянное „мы“, которому предназначено повернуть вспять колесо исторіи и которое любитъ своего „меньшого брата“, но отлично понимаетъ, что братъ этотъ меньшой и совсѣмъ даже маленькій, что до нашихъ интеллигентныхъ думъ онъ еще не дорослъ.

Вы скажете: горьковскіе босяки философствуютъ, они совсѣмъ не похожи на тѣхъ оборванцевъ, грязныхъ и запуганныхъ, которыхъ мы встрѣчаемъ на улицѣ, видимъ въ ночлежныхъ домахъ. Отчего же Горькій не рисуетъ намъ ихъ такими, отчего отъ его Мальвы не разитъ тухлой рыбой, какъ уже требовалъ одинъ „критикъ“? Но не признаете ли вы вмѣстѣ со мною, что художникъ воленъ взять въ любомъ явленіи то, что онъ считаетъ главнымъ и, не выходя изъ рамокъ дѣйствительности,

фиксировать на немъ свое преимущественное вниманіе. Не признаете-ли вы и того, что жизнь русская усложнилась, что идетъ въ ней страшно напряженная борьба за существованіе, что желѣзная дорога, почта, телеграфъ и печать уничтожили тѣ медвѣжьи уголки, куда хоть сто лѣтъ скачи, все равно не доскачешь, что внѣшнія формы нашей жизни стали въ вопіющее противорѣчіе съ внутреннимъ ея содержаніемъ и что противорѣчіе это всѣхъ отъ мала до велика заставляетъ напряженно думать и сильно и больно чувствовать....

А если вы съ этимъ согласны, то не думаете-ли вы, что только у насъ, народолюбивыхъ интеллигентовъ, есть философія, нужно-ли вамъ повторять вмѣстѣ съ Шейлокомъ, что всѣ люди „смѣются, когда ихъ щекочутъ, плачутъ, когда ихъ мучатъ?“... Нужно-ли доказывать, что истинная философія рождается жизнью, что она вѣрнѣе и тѣснѣе связана съ чувствомъ у опустившихся сверху на дно, или у выбивающихся со дна на верхъ, чѣмъ у насъ благополучно пребывающихъ на верху?... Нужно-ли говорить, что философія не въ умѣ, а въ чувствѣ и что герои Горькаго болѣе глубокіе философы не только въ его изображеніи, но и въ самой жизни, чѣмъ всѣ наши новоявленные идеалисты, мистики, индивидуалисты.

Но я забѣжалъ впередъ. Итакъ, я убѣжденъ и, надѣюсь, вы согласитесь со мною, что горьковскіе типы отвѣчаютъ дѣйствительности,

что то, что думаютъ и говорятъ они, повторятъ десятки тысячъ живыхъ ихъ товарищей по разнымъ угламъ необъятной нашей родины. И то, что наши интеллигентныя мысли и настроенія совпадаютъ съ ихъ мыслями, является самой характерной чертой нашего времени, переживаемаго нами историческаго момента, объединяющаго, по крайней мѣрѣ, въ идеологіи, самыхъ разношерстныхъ и разнокалиберныхъ членовъ нашего общества. Горькій смѣло могъ бы повторить то, что когда-то сказалъ Луи-Бланъ: „Богатые, къ вамъ я обращаюсь въ этой книгѣ, потому что въ ней говорится о бѣдныхъ. Ибо ихъ дѣло есть ваше дѣло“. Но онъ могъ бы еще прибавить: „тѣмъ болѣе, что если они бѣднѣе васъ матеріально, то зато богаче духовно“. Да вѣдь и говорилъ онъ это. Вспомните „Писателя, который зазнался“.

Что же это за новая идеологія общая бѣдному и богатому, босяку и интеллигенту? Эта идеологія—религія личности. Эту религію исповѣдуютъ всѣ дѣйствующія или только, какъ въ „Мѣщанахъ“ или „На днѣ“, разсуждающія лица произведеній Горькаго.

III.

Въ одной изъ болѣе талантливыхъ статей о Горькомъ, въ статьѣ К. Чуковскаго „О мѣщанахъ“, есть тирада которую я, какъ крайне интересную и выражающую довольно распространенное мнѣніе, позволю себѣ привести здѣсь цѣликомъ.

„Прежде (т. е. до „Мѣщанъ“) Горькій звалъ къ безцѣльному подвигу, къ борьбѣ ради борьбы, а не ради какихъ-нибудь преимуществъ, звалъ къ безумію храбрыхъ, и все, что относилось къ выгодѣ, къ цѣли, къ результату—все это было ненавистно ему. Сокола манила битва въ небѣ, но каковы были послѣдствія этой битвы,—о! про послѣдствія онъ думалъ меньше всего. Именно, въ этой безрасчетности, въ этомъ отсутствіи мысли о послѣдствіяхъ—каждый видѣлъ все превосходство его надъ обдумчивымъ Ужомъ,—и рядомъ съ нимъ какимъ ничтожнымъ казался этотъ Ужъ, который въ каждой вещи цѣнилъ ея назначеніе, утилитарное примѣненіе ея, а не ее самое по себѣ. *Самоцѣльность дѣйствій*,—вотъ что прославлялъ Горькій прежде. Теперь не то. Теперь Нилъ бросается въ кипучую и опасную дѣятельность—далеко не безъ цѣли. Слово „потому“ должно быть замѣнено теперь словомъ „чтобы“,—а это громадная разница! Каково это „чтобы“, — вопросъ не въ этомъ. Важно то, что оно появилось. Всѣ рѣчи Нила свидѣтельствуютъ о повышенномъ правовомъ сознаніи.

Итакъ, „самоцѣльность дѣйствій, — вотъ что прославлялъ Горькій прежде всего“.

Такого рода своеобразная концепція уже была отмѣчена, и не особенно дружелюбно, проникновеннымъ Достоевскимъ. „Высшій либерализмъ“ и „высшій либералъ“, т. е. либералъ безъ всякой цѣли, возможенъ только въ одной Россіи—говоритъ онъ въ „Бѣсахъ“. Подставьте вмѣсто словъ „либерализмъ“ и „либералъ“ слова „индивидуализмъ“ и „индивидуалистъ“ и вы получите то, что усмотрѣлъ г. Чуковскій у Горькаго.

Но, право, усмотрѣлъ онъ то, чего нѣтъ. Правда, Соколъ поетъ „безумство храбрыхъ“, буревѣстникъ радъ бурѣ для нея самой, Челкашъ воруетъ, съ перваго взгляда какъ будто для того только, чтобъ воровать. Но пусть не со-

колъ, а ворона закаркаетъ „о безумьи храбрыхъ“, не буревѣстникъ, а сова обрадуется бурѣ—и впечатлѣніе совершенно измѣнится. А измѣнится оно потому, что дѣло не въ самоцѣльности проявленія энергіи,—такую самоцѣльность можетъ обнаружить и ворона, и сова,—а въ томъ *кто* и *зачѣмъ* эту энергію проявляетъ.—Соколъ, буревѣстникъ—символы сильной, умѣющей желать, личности. Челкашъ—того же поля ягода. Поэтому Горькій если и можетъ быть названъ индивидуалистомъ, то только въ смыслѣ проповѣдника сильной, самостоятельной личности, полнаго и всесторонняго ея развитія. Нигдѣ и никогда Горькій не противопоставлялъ общество и индивидуума, какъ вещи непримиримыя; нигдѣ и никогда не славилъ самоцѣльныхъ, или, что то же, безсмысленныхъ, проявленій энергіи. Развѣ были бы всѣ эти соколы, буревѣстники и Челкаши такъ неотразимо привлекательны, развѣ казались бы такъ горды и смѣлы, если бы они стремились къ безсмысленной борьбѣ ради борьбы, а не къ побѣдѣ.—Они не разсуждаютъ,—отсюда впечатлѣніе самоцѣльности,—о возможности или невозможности успѣха, нѣтъ, имъ во что бы то ни стало нужно осуществить внутреннія требованія своего „я“, въ чемъ бы эти требованія ни выражались, хотя бы и пришлось погибнуть; но лучше не жить, чѣмъ пресмыкаться, лучше умереть, чѣмъ не видѣть осуществленными категорическихъ стремленій своего „я“. Стремленіе къ гибели не противорѣчитъ идеѣ личности; послушайте г. Бердяева: „чело-

вѣкъ иногда долженъ жертвовать своей жизнью, чтобы спасти свое духовное „я“; тутъ жертва и смерть опять таки являются путями нравственнаго самоосуществленія и только потому оправдываются“ *).

Вотъ на этомъ-то самоосуществленіи личности и останавливаетъ свое преимущественное вниманіе Горькій; поэтому-то онъ и является пророкомъ религіи личности, религіи все болѣе и болѣе проникающей въ общее сознаніе, отражающейся, наконецъ, и въ нашей, конечно, неоффиціальной, наукѣ. Вотъ вамъ на удачу выписка изъ цитированной уже ученой книги „Проблемы идеализма“.

„... Психологически невозможно сдѣлать счастье цѣлью жизни, объектомъ своихъ желаній, и сознательно направить свою активность на его осуществленіе. Человѣкъ находитъ свое высшее счастье въ осуществленіи чего-то *цѣннаго* съ точки зрѣнія своей сознательной природы, т. е. въ осуществленіи добра въ своей волѣ, истины въ своемъ познаніи, красоты въ своихъ чувствахъ; эти цѣнности и являются цѣлями, изъ ихъ осуществленія слагается духовная жизнь“ **).

Замѣтьте, что добро, истина и красота—понятія относительныя, и попробуйте цитату эту примѣнить, ну, къ кому,—напримѣръ, къ Челкашу. Онъ воруетъ безъ цѣли, но это по-

*) Проблемы идеализма, с. 110.
**) Статья Бердяева, стр. 99.

тому, что онъ *психологически не можетъ сдѣлать счастье цѣлью своей жизни*, не можетъ думать только о барышахъ; нѣтъ, онъ хочетъ осуществить свое „я“, красоту, добро и истину, какъ они представляются этому его „я“. Ему дорога его удаль, ему дорого знаніе всей условности обыденной и ложной, съ его точки зрѣнія, морали—и, посмотрите, съ какимъ великолѣпнымъ презрѣніемъ онъ бросаетъ нажитыя опаснымъ трудомъ деньги покушавшемуся убить его, нравственному мужичку. Этимъ своимъ поступкомъ онъ еще разъ подымаетъ себя въ собственныхъ глазахъ на недосягаемую высоту сравнительно съ мужичкомъ, лишеннымъ религіи личности и поклоняющимся только сытости. Не той же развѣ красоты хотятъ и Соколъ и Буревѣстникъ и другіе герои Горькаго?

Попробовали бы вы стащить у Игната Гордѣева (отца Ѳомы) копѣйку. Онъ бы убилъ васъ. Но почему? А вотъ, что онъ отвѣчаетъ: „... не въ копѣйкѣ дѣло, а въ томъ, что *моя* она, и никто не смѣй ее тронуть, ежели я самъ не брошу“. Трогающій безъ разрѣшенія его копѣйку оскорбляетъ его личность, ибо „собственность есть лишь распространенная на вещи периферія личности“ (слова Іеринга).

Но если копѣйка причастна личности, то насколько же болѣе ей причастны ея идеалы, ея представленія о добрѣ, красотѣ, правдѣ.

Вооружась противъ нихъ, вы вооружитесь противъ личности и, защищая свои идеалы, она будетъ защищать въ нихъ себя самое.

Итакъ, не самоцѣльность, а сильную личность проповѣдуетъ Горькій, каково бы ни было ея эмпирическое содержаніе, каковы бы ни были ея стремленія. Въ этомъ разгадка того, что, несмотря на явную порочность и вредность для интересовъ общежитія большей части его героевъ, они все-таки привлекательны, такъ какъ всѣ они протестуютъ, говоря далѣе словами того же г-на Бердяева, „противъ внѣшней морали, противъ общественнаго мнѣнія и даже противъ всего внѣшняго міра“, и хотя протестъ этотъ слишкомъ многимъ кажется „имморальнымъ“, но съ нашей точки зрѣнія это есть глубоко моральный бунтъ автономнаго нравственнаго закона,—закона, открывающаго человѣку безконечныя перспективы,—противъ поползновеній со стороны данной объективной дѣйствительности обратить человѣка въ средство и орудіе. Это бунтъ сильныхъ духомъ и во имя силы духовной, и потому онъ имѣетъ внутреннее нравственное оправданіе, противъ котораго нравственно безсиленъ весь окружающій міръ“ *).

И до „Мѣщанъ“ у героевъ Горькаго чувствуется наличность этого автономнаго нравственнаго закона, но нигдѣ его содержаніе не обрисовывается положительными чертами; Горькаго интересуетъ личность сама по себѣ и борьба за нее, за ея самоутвержденіе. Только съ „Мѣщанъ“ начинаются попытки оправдать эту борьбу чѣмъ-то, внѣ личности лежащимъ.

*) Проблемы идеализма, с. 123.

И вотъ этимъ, а не привнесеніемъ цѣли (ибо цѣль была и раньше), выражается поворотъ въ творчествѣ Горькаго.

Еще одной, и очень грустной чертой этого поворота является упадокъ художественнаго творчества.

Какъ для той, такъ и для другой стороны отмѣченнаго перелома въ творчествѣ Горькаго, еще болѣе, чѣмъ „Мѣщане“, характерно „На днѣ“. Къ посильному разбору этой вещи съ интересующей меня точки зрѣнія я и перейду.

IV.

Вы читаете „На днѣ“. Передъ вами проходитъ рядъ обитателей ночлежнаго дома. Чувствуете ли вы что-нибудь? Нѣтъ, вы только думаете, работаетъ напряженно ваша мысль, а сердце остается холоднымъ. Вѣшается актеръ, убитъ Костылевъ, Пепела тащутъ въ тюрьму, ноги несчастной Наташи обварены кипяткомъ,— и все это обиліе ужасовъ ничуть не трогаетъ васъ; вы читаете это такъ, какъ читали бы вы репортерскую замѣтку въ отдѣлѣ происшествій.

Новые бывшіе люди Горькаго отличаются отъ прежнихъ его бывшихъ людей тѣмъ, что нѣтъ въ нихъ жизни, а есть только рѣчи, полныя, правда, глубокихъ мыслей, мѣткихъ остротъ. Индивидуальность каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ опредѣляется или собственной его себѣ аттестаціей, или же выясняется изъ разговоровъ его товарищей.

И никакая „драма изъ самовара“, какъ острилъ кто-то по поводу обваренныхъ ногъ Наташи, не можетъ оживить эти говорящія схемы, не заставитъ забиться наше сердце.

Зато сколько тутъ работы для мысли! Кажется, будто Горькій поставилъ себѣ философскую задачу и рѣшаетъ ее на протяженіи четырехъ дѣйствій по вполнѣ опредѣленному и обдуманному плану.

Прежде всего ему нужно для своего опыта изолировать человѣка отъ всѣхъ осложняющихъ вліяній: собственности, семьи, труда, обыденной морали. И вотъ мы попадаемъ на дно. Его обитатели, конечно, „все свое съ собою носятъ“,— съ нихъ „все слиняло, одинъ голый человѣкъ остался“..., они съ удивленіемъ спрашиваютъ: „на что совѣсть?“, „зачѣмъ играть честно?“.— Они не работаютъ, ибо „когда трудъ — обязанность, жизнь—рабство!“,—они давно ушли оттуда, гдѣ „изъ собакъ енотовъ дѣлаютъ“, т. е. изъ мѣщанской среды съ ея пошлостью и ложью. Для контраста и для оживленія дѣйствія есть и мѣщане: супруги Костылевы и „унтеръ Медвѣдевъ“; имъ, по словамъ Луки, хотя-бы и самъ Богъ приказалъ быть людьми, все равно—ничего бы не вышло. Поэтому, вѣроятно, они и играютъ совсѣмъ второстепенную роль въ пьесѣ, не принимая никакого участія въ общемъ философствованіи.

До появленія Луки мало философствуютъ и остальные, видно только, что они по чемъ то

тоскуютъ. „Живешь — живешь, все хорошо! И вдругъ — точно озябнешь: сдѣлается скушно...“ заявляетъ самый благополучный изъ обитателей ночлежки—воръ Пепелъ.

Да и мудрено не тосковать! Страшна и безпросвѣтна сѣрая и тяжелая, какъ туманъ, праздная жизнь въ „подвалѣ, похожемъ на пещеру“. Избитый кѣмъ-то наканунѣ, умница Сатинъ хрюкаетъ, рычитъ, а иногда изрекаетъ диковинныя слова: „органонъ“, „макробіотика“, „сикамбръ“, „трансцедентальный“... „Надоѣли мнѣ, братъ, всѣ человѣческія слова... всѣ наши слова—надоѣли! Каждое изъ нихъ слышалъ я... навѣрное, тысячу разъ“, поясняетъ Сатинъ Бубнову. Квашня вступаетъ въ перебранку съ Клещемъ. Такія перебранки, видно, дѣло обычное, Недаромъ Баронъ говоритъ такъ безнадежно: „началось“. Бранятся потомъ изъ-за того, кому подметать полъ. Подъ аккомпаниментъ этого шума дѣлаетъ свое страшное дѣло смерть,—ей шумъ — не помѣха, да и она ничему не мѣшаетъ въ подвалѣ. Отъ скуки и чтобы хоть какъ-нибудь почувствовать свое „я“, Пепелъ, соблазняя Барона полубутылкой водки, пытается заставить этого бывшаго барина „лаять собакой“, Баронъ въ свою очередь, безъ нужды досаждаетъ Настѣ, которою по ея словамъ, живетъ, „какъ червь яблокомъ“... Надеждъ въ подвалѣ нѣту, о будущемъ никто и не говоритъ. Иногда только всплываютъ воспоминанія изъ другого, полузабытаго міра. Актеръ вспоминаетъ о сценѣ, Сатинъ—объ умныхъ, когда-то читанныхъ, книгахъ.

Баронъ о кофе со сливками, о каретѣ. Но „въ каретѣ прошлаго далеко не уѣдешь“. Да и прошлое это обитателямъ ночлежнаго дома рисуется въ очень неясныхъ краскахъ. Все въ немъ, что когда-то интересовало, что наполняло жизнь,—основательно забыто. Забылъ Сатинъ смыслъ своихъ диковинныхъ словъ... Актеръ никакъ не вспомнитъ когда-то любимыхъ стиховъ... А „ужъ чего хорошаго, коли любимое забылъ? Въ любимомъ вся душа“, резонируетъ Лука. Страшно забыть, но забыть надо, потому что страшнѣе было-бы... все помнить. И забыть помогаетъ водка. На водку нужны деньги. И за пятакъ Сатинъ готовъ признать того, кто его этимъ пятакомъ снабдитъ, „талантомъ, героемъ, крокодиломъ, частнымъ приставомъ“...

Одинъ Клещъ, этотъ „съ малыхъ лѣтъ рабочій», мечтаетъ вырваться изъ подвала. Не въ моготу ему жить такъ „безъ чести, безъ совѣсти“, какъ живутъ его товарищи; не можетъ онъ согласиться съ ними, что честь, совѣсть нужны только тѣмъ, „у кого власть да сила есть“...

Да, скучно и безнадежно на днѣ; все чѣмъ живы люди на верху: трудъ, совѣсть, честь, право, обязанность,—все здѣсь похерено. И жить стало нечѣмъ. И не жизнь передъ нами, а что-то сѣрое, тоскливое, ненужное. И самъ собою возникаетъ въ умѣ Бубнова выводъ, что и онъ, и Настя да „и всѣ люди на землѣ—лишніе“.

Но вотъ появляется въ подвалѣ, невѣдомо откуда пришедшій, бодрый, живой старецъ Лука со своимъ опредѣленнымъ и своеобразнымъ міро-

созерцаніемъ и, подъ его вліяніемъ, пробуждаются души обитателей ночлежки, рождаются въ нихъ надежды и стремленія, оживляются и глубокомысленнѣе становятся разговоры, ставятся и рѣшаются вѣчные вопросы. Кто этотъ старикъ, каково его прошлое, мы не знаемъ. Видно только, что когда-то онъ пожилъ, немало испыталъ всякой всячины. И лысый онъ сталъ, по его собственному признанію, „отъ этихъ вотъ самыхъ разныхъ бабъ“, и званія, имени своего открыть не хочетъ, и паспорта не имѣетъ, и съ закономъ, по всему видно, не въ ладахъ живетъ.— Но за то дѣла его у всѣхъ на виду.—Подъ его вліяніемъ тоскливыя и безнадежныя рѣчи умирающей Анны смѣняются примиреніемъ со смертью. Пепелъ, для котораго съ малыхъ лѣтъ не было имени другого, кромѣ „вора“, начинаетъ мечтать о бракѣ съ любимой дѣвушкой, о Сибири, гдѣ такіе люди, какъ онъ, по словамъ Луки, нужны. — Актеръ, которому тотъ же старикъ посулилъ какую-то даровую лечебницу для пьяницъ, бросаетъ пить, копитъ деньги на дорогу, вспоминаетъ забытые стихи. Настя смѣлѣе бредитъ о какомъ-то, никогда не бывшемъ, Гастонѣ или Раулѣ „въ лаковыхъ сапожкахъ“ и о его горячей къ ней любви; и росказни ея встрѣчаютъ поддержку все въ томъ же Лукѣ.—Даже веселый, но гордый и скрытный Сатинъ на минуту забываетъ свою гордость, и подъ вліяніемъ участливыхъ распросовъ Луки, вспоминаетъ о когда-то горячо любимой сестрѣ, о подлецѣ за нее убитомъ, о тюрьмѣ...

Что вышло бы изъ всего этого броженья, получились-ли бы какіе-нибудь осязательные результаты, мы, къ сожалѣнію, не видимъ. Вмѣшиваются въ дѣло мѣщане—и все гибнетъ. Изувѣченная Наташа попадаетъ въ больницу. Убійцу Пепела полиція тащитъ въ тюрьму. Самъ Лука исчезаетъ отъ полиціи, какъ „грѣшникъ отъ лица праведныхъ“. Куда ушелъ старикъ? „Въ хохлы“, вѣроятно, гдѣ, слыхалъ онъ, «открыли новую вѣру“...

Съ его исчезновеніемъ кончается третье дѣйствіе, происходившее (видится мнѣ въ этомъ нѣкоторый символъ) хоть и въ закоулкѣ, но все-таки на открытомъ воздухѣ, при свѣтѣ заходящаго солнца... Мы снова возвращаемся въ подвалъ „похожій на пещеру“... Мелькнувшій на минуту лучъ свѣта погасъ. И снова звучитъ унылая, полная тупого отчаянія. пѣсня. „Солнце всходитъ и заходитъ, а въ тюрьмѣ моей темно“... Да, гдѣ-то тамъ, далеко, свѣтитъ солнце, гдѣ-то тьма смѣняется свѣтомъ, отчаяніе надеждой, а здѣсь... снова все темно, одноцвѣтно, надежды гаснутъ... Снова безсмысленныя, ненужныя, дикія ссоры... Настя грозитъ „голая, на четверенькахъ“ ползти куда-то, только бы не видѣть бароновой „рожи“, всей этой жизни, всѣхъ этихъ людей... На сценѣ снова водка. И не спроста Бубновъ, котораго мы до сихъ поръ видѣли трезвымъ, напивается до одурѣнія и спаиваетъ всѣхъ товарищей. И въ его душѣ безпокойный старикъ разбудилъ что-то тлѣвшее глубоко гдѣ-то, какія-то стремленія къ „пра-

ведной землѣ"; а за пробужденіемъ наступила реакція, стало еще тошнѣе, а на выручку явилась водка...

„Мнѣ и хочется на волю, да э—эхъ, цѣпь порвать я не могу", —звучитъ заключительная строфа пѣсни...

И въ словахъ ея слышится унылая, своеобразная и страшная гармонія со всей обстановкой подвала, съ чувствами и мыслями его обитателей... Эту гармонію чувствуютъ всѣ, а глубже другихъ Сатинъ, и на прерывающее пѣсню сообщеніе барона о томъ, что актеръ удавился, онъ реагируетъ тремя словами: „Дуракъ, испортилъ пѣсню". И сказать болѣе—нечего.

Русск. Кн.

VIII.

10948

Отмѣтивъ ранѣе художественные недостатки пьесы, я не считалъ себя вправѣ не остановиться и на художественныхъ ея достоинствахъ. Съ этой цѣлью я изложилъ вкратцѣ содержаніе „На днѣ", не останавливаясь на „философіи", а стараясь только оттѣнить художественныя стороны въ изображеніи Горькимъ внутренняго міра его бывшихъ людей.—Удалось-ли мнѣ это,—вамъ судить!

Но, говорилъ я раньше, и повторяю теперь, не въ художественныхъ достоинствахъ причины успѣха „На днѣ", а въ тѣхъ идеяхъ и настроеніяхъ, въ тѣхъ отвѣтахъ на вопросы высшаго порядка, которые повсюду разсѣяны въ новой пьесѣ. Въ этомъ отношеніи особенно цѣнно 4 е

Дез. Гос. Ун-т
Научная
библиотека им.
Горького

дѣйствіе, гдѣ „бывшіе люди“ подвала вспоминаютъ о только что исчезнувшемъ съ ихъ горизонта любопытномъ старикѣ. Каждый высказываетъ свое о немъ мнѣніе и изъ столкновенія этихъ мнѣній и рождается истина, вложенная авторомъ въ уста Сатина. Въ нѣсколькихъ монологахъ послѣдняго раскрывается передъ нами цѣльное, глубокое и красивое міросозерцаніе. 4-е дѣйствіе—ключъ къ объясненію всѣхъ предыдущихъ, безъ него трудно было-бы вполнѣ уразумѣть, что хотѣлъ авторъ сказать своей пьесой, а что онъ что-то хотѣлъ сказать,—это чувствуется съ первыхъ-же строкъ. Въ немъ, въ этомъ 4-мъ актѣ, яркими штрихами намѣченъ новый этапъ въ развитіи міросозерцанія Горькаго или, вѣрнѣе,—отражаемаго имъ міросозерцанія нашего времени. Если вы не забыли того, что я говорилъ выше о Горькомъ, какъ художникѣ, воспринимающемъ человѣка опредѣленнаго историческаго момента, ловящемъ и воплощающемъ въ образахъ новыя, еле сознанныя, идеи и настроенія,—то вы, навѣрное, угадали уже, что, по моему мнѣнію, развиваемое въ „На днѣ“, міросозерцаніе явилось не изъ головы Горькаго, а подмѣчено имъ въ самой жизни, гдѣ оно имѣетъ многочисленныхъ адептовъ.

Что это такъ, я постараюсь вамъ показать въ дальнѣйшемъ изложеніи, гдѣ, разбирая философію „На днѣ“, я буду подтверждать каждое положеніе ея умозрительными положеніями „Проблемъ идеализма“. И если основныя положенія авторовъ ученой книги, хотя въ общихъ

чертахъ, совпадутъ съ положеніями обитателей „подвала, похожаго на пещеру“, то, согласитесь, нельзя и сомнѣваться, что положенія эти рождены самой жизнью, а не чистымъ умозрѣніемъ, ибо что общаго между Сатинымъ и г. Бердяевымъ, или Лукою и г. Булгаковымъ.

Нельзя-же предполагать, что Горькій сговорился съ двѣнадцатью апостолами идеализма, или что общность міросозерцанія—дѣло абсолютнаго случая.

IX.

Я говорилъ уже, что до „Мѣщанъ“ или вѣрнѣе, до повѣсти „Трое“, Горькій былъ пѣвцомъ сильной личности, каковы-бы ни были ея стремленія и идеалы. Яркими красками и съ очевидной симпатіей изображалъ онъ и красавицу Нонку, дочь Макара Чудры, въ глазахъ которой, „сверкало сознаніе обаянія и неотразимости своей красоты и презрѣнія ко всему, что не она сама“, такъ-же изображалъ онъ и вора—Челкаша, и, даже, прижимистаго купца Игната Гордѣева. Для него здѣсь на первомъ планѣ — самоосуществленіе личности, степень энергіи ея въ достиженіи *своихъ* цѣлей. Онъ славитъ силу, жизнь... Но не поможетъ-ли намъ г. Бердяевъ объяснить, что говорилъ Горькій? А вотъ что: „Въ человѣкѣ есть безумная жажда жизни, интенсивной и яркой, жизни сильной и могучей, хотя-бы своимъ зломъ, если не добромъ. Это необыкновенно цѣнная жажда

жизни и пусть она лучше *опьяняетъ* человѣка, чѣмъ отсутствуетъ совсѣмъ. Это Богъ Діонисъ даетъ о себѣ знать, тотъ самый, которому Ницше воздвигъ такой прекрасный памятникъ во всѣхъ своихъ твореніяхъ".

Развѣ не культу сильной, жаждущей жизни личности посвятилъ всѣ свои произведенія Горькій, развѣ не во имя этой личности онъ не обращалъ никакого вниманія на ея ближнихъ, нигдѣ и никогда не требовалъ самопожертвованія, отреченія отъ своего „я" во имѣ „я" другого, и развѣ мы не найдемъ тотчасъ-же этой мысли у этого-же г. Бердяева, по мнѣнію котораго „служить удовольствію и счастію Петра и Ивана и даже всѣхъ Петровъ и Ивановъ на свѣтѣ не имѣетъ никакой нравственной цѣны... Да и къ тому-же, если постыдно для человѣка посвятить жизнь собственному наибольшему удовольствію, то не менѣе постыдно обратить себя въ орудіе чужого наибольшаго удовольствія".

Таковъ Горькій до „Мѣщанъ". Проповѣдуя самоутвержденіе (простите за неуклюжій переводъ нѣмецкаго „Selbstbehauptung") личности, онъ не задается вопросомъ, чѣмъ такое самоутвержденіе можетъ быть оправдано, — требуя энергіи въ осуществленіи каждымъ своего „я", онъ не спрашиваетъ, каково-же должно быть содержаніе этого „я".

Не то — въ „На днѣ". Создавая эту вещь, кажется мнѣ, онъ думалъ то, что г. Булгаковъ выражаетъ въ слѣдующей фразѣ; „Человѣкъ,

который жилъ бы безъ всякой религіи за личный страхъ и счетъ своего маленькаго „я“, былъ бы отвратительнымъ уродомъ. И напротивъ, для человѣка истинно религіознаго вся его жизнь, отъ крупнаго до мелкаго, опредѣляется его религіей, и нѣтъ такимъ образомъ ничего, что являлось бы въ религіозномъ отношеніи индифферентнымъ“ *).

И вотъ въ „На днѣ“ и развивается религіозное (т. е. основанное на чувствѣ вѣры) міросозерцаніе.

X.

Несомнѣнными носителями и выразителями этого міросозерцанія являются Лука и истолкователь его—Сатинъ. Ищутъ его, и способствуютъ отдѣльными замѣчаніями его выясненію почти всѣ остальные обитатели „дна“. Совершенно лишены его и живутъ только „за личный страхъ и счетъ своего маленькаго я“ „хозяева“ — супруги Костылевы, да „бутырь“ Медвѣдевъ.

По этому-то признаку послѣдніе и выдѣлены въ особую группу, представляя новую разновидность мѣщанства, въ ряды коего попадаетъ и такая, несомнѣнно, сильная, энергичная женщина, какъ пепелова любовница Василиса Костылева. Но не одна только сила, не одна энергія нужны для того, чтобы быть „человѣкомъ“, заслуживающимъ съ точки зрѣнія но-

*) Проблемы идеализма, с. 5.

ваго міросозерцанія (Луки и Сатина) этого почетнаго имени. Въ томъ то и новый мотивъ въ творчествѣ Горькаго, что для этого требуется нѣчто большее.

Но объ этомъ послѣ. Начнемъ по порядку. Въ чемъ та новая правда, которую несутъ намъ Лука и Сатинъ? Пусть отвѣтитъ Сатинъ: „Человѣкъ — вотъ правда! Что такое человѣкъ?... Это не ты, не я, не они... нѣтъ? Это ты, я, они, старикъ, Наполеонъ, Магометъ... въ одномъ! Это—огромно! Въ этомъ—всѣ начала и концы... Все — въ человѣкѣ, все для человѣка! Существуетъ только человѣкъ, все же остальное — дѣло его рукъ и его мозга! Че-ло-вѣкъ! Это — великолѣпно! Это звучитъ... гордо! Че-ло-вѣкъ“!

А если это такъ, то ясно для чего живутъ люди. Припомните отвѣтъ Луки на этотъ вопросъ въ передачѣ Сатина; „А—для лучшаго люди-то живутъ, милачокъ. Вотъ, скажемъ, живутъ столяры и все—хламъ—народъ... И вотъ отъ нихъ рождается столяръ... такой столяръ, какого подобнаго и не видала земля, всѣхъ превысилъ и нѣтъ ему во столярахъ равнаго... и сразу дѣло на двадцать лѣтъ двигаетъ... Такъ же и всѣ другіе... слесаря тамъ... и всѣ крестьяне... и даже господа—для лучшаго живутъ! Всякъ думаетъ, что для себя проживаетъ, анъ выходитъ, что для лучшаго! По сту лѣтъ... а можетъ, и больше — *„для лучшаго человѣка живутъ*!“

Итакъ, человѣкъ — мѣра вещей, въ немъ высшая правда, онъ — Божество. Но что такое

этотъ человѣкъ! Это „не ты, не я, не они...“, это нѣкоторое отвлеченіе, совокупность лучшихъ свойствъ всѣхъ людей, „это—ты, я, Наполеонъ, Магометъ“...

Скажите, не напоминаетъ-ли вамъ этотъ отвлеченный „человѣкъ“ Сатина сверхчеловѣка Ницше? Вѣдь „сверхчеловѣкъ“, по словамъ г. Франка, „есть, такъ сказать, *формальный* нравственный образъ. Онъ знаменуетъ собою и означаетъ высшую степень духовнаго развитія человѣчества, высшую степень расцвѣта, на которую способны содержащіеся въ современномъ человѣкѣ духовные зародыши *). Не найдете-ли вы также, что изъ представленія Луки о жизни „для лучшаго человѣка“ логически вытекаетъ слѣдующее, сочувственно цитируемое тѣмъ же г. Франкомъ, положеніе Ницше: „Наши обязанности вытекаютъ... изъ основной мысли *культуры*, которая ставитъ передъ каждымъ изъ насъ только одну задачу: *содѣйствовать развитію въ насъ и внѣ насъ философа, художника и святого и тѣмъ трудиться надъ совершенствованіемъ природы*“ **).

„Человѣкъ—выше сытости“, говоритъ Сатинъ. Не того-же ли мнѣнія и г. Франкъ? „Если сытость и благополучіе“, говоритъ онъ, „разсматриваются не какъ необходимая ступень къ дальнѣйшимъ усиліямъ человѣчества и не просто какъ первое и законное требованіе вся-

*) Проблемы идеализма, с. 185.
**) Ibidem с. 188.

каго голоднаго человѣка, а какъ *конечный идеалъ*, то этотъ конечный идеалъ по своей моральной природѣ прямо противоположенъ всему, что нравственно цѣнно въ средствахъ его осуществленія", *) ибо средства эти, какъ-то: героизмъ, самопожертвованіе и т. п. прямо противоположны стремленію къ сытости.

Но пойдемъ далѣе. Измѣняетъ-ли Горькій въ „На днѣ" самому себѣ, какъ пѣвцу, сильной личности? Нѣтъ, онъ попрежнему за одно съ г. Бердяевымъ думаетъ, что нравственно то, „что утверждаетъ „я", его право на самоопредѣленіе, на безконечное развитіе, его жажду силы и совершенства", но только своимъ чутьемъ художника онъ схватилъ и то, что г. Бердяевъ выражаетъ въ слѣдующемъ положеніи: „Нравственная проблема есть прежде всего проблема отношенія между эмпирическимъ „я" и „я" идеальнымъ, духовнымъ, моральнымъ" **). Отъ апологіи эмпирической личности Горькій перешелъ къ прославленію личности, таящей въ себѣ зародышъ того, что Сатинъ называетъ „человѣкомъ", а г. Франкъ „сверхчеловѣкомъ".— Но по прежнему на первомъ планѣ у него „я". Въ самомъ дѣлѣ, почему такъ милъ Лука Сатину? Да потому, что онъ живетъ „изъ себя", иначе говоря, смыслъ и оправданіе жизни находитъ въ своемъ „я", потому что не унижаетъ онъ людей жалостью, а уважаетъ ихъ, потому что

---

*) Проблемы идеализма, с. 180.

**) Ibidem, с. 100.

даже Божество онъ подчиняетъ человѣку... Помните отвѣтъ его на вопросъ Пепела: „Богъ есть?“,—„Коли вѣришь, есть; не вѣришь, нѣтъ... Во что вѣришь, то и есть...“.

Да, Лука живетъ „изъ себя...“ Все, что онъ даетъ,—даетъ легко и свободно его „я“. Никакого долга, никакой морали, внѣ человѣка лежащей, онъ не знаетъ—въ самомъ человѣкѣ долженъ быть его нравственный законъ. Почему, по мнѣнію Луки, Пепелъ долженъ перестать воровать? Не потому-ли, что воровство есть нѣчто объективно дурное, не потому-ли, что оно составляетъ преступленіе противъ ближняго? Нѣтъ, воровская жизнь унижаетъ Пепела въ его собственныхъ глазахъ, а „человѣкъ долженъ уважать себя“,—вотъ единственный мотивъ.

Здѣсь мы подошли къ любопытному и новому для Горькаго рѣшенію вопроса объ отношеніи людей другъ къ другу, о любви къ ближнему, объ альтруизмѣ.—Что-же такое эгоизмъ и альтруизмъ? Эгоизмъ, скажете вы, есть любовь къ себѣ, предпочтеніе своихъ выгодъ выгодамъ ближняго; альтруизмъ-же—любовь къ ближнему, отреченіе отъ своихъ выгодъ во имя его, ближняго, блага. Припомните теперь, пожалуйста, героевъ „На днѣ“ и подумайте объ отношеніяхъ ихъ другъ къ другу. Не хочется-ли вамъ подраздѣлить ихъ на злыхъ и добрыхъ, на эгоистовъ (Костылевы и пр.,) и альтруистовъ (Лука, конечно)?—Берегитесь, не дѣлайте этого, вы разсердите г-на Бердяева и онъ скажетъ

вамъ: „Ходячій альтруизмъ всегда признаетъ нравственное господство „ты“ и... этимъ онъ упраздняетъ „я“, т. е единственнаго носителя нравственнаго начала...“ „Давно уже пора уничтожить эту этическую фикцію „ты“, „другихъ“, которая только мѣшаетъ правильной постановкѣ и рѣшенію этической проблемы. Отношеніе человѣка къ человѣку этически производно изъ отношенія человѣка къ самому себѣ...“.

И высшее нравственное сознаніе требуетъ, чтобы каждый человѣкъ относился къ каждому другому человѣку не какъ къ „ты“, изъ состраданія къ которому онъ долженъ жертвовать своимъ „я“..., а какъ къ „я“, къ такой-же цѣли въ самой себѣ, какъ и онъ самъ“ *). Въ унисонъ г-ну Бердяеву г. Франкъ цитируетъ Ницше: „Я хочу, чтобы вы устали говорить: хорошимъ бываетъ поступокъ, когда въ немъ есть самоотреченіе“. И г-ну Бердяеву остается прибавить: „Быть эгоистомъ въ этомъ смыслѣ (т. е. въ смыслѣ осуществленія своего духовно-идеальнаго я. А. Б.) и значитъ быть нравственнымъ человѣкомъ, быть *личностью*“.

И, знаете-ли, Лука и на самомъ дѣлѣ не альтруистъ. Онъ живетъ „изъ себя“. Онъ говоритъ: „Куда намъ—мертвыхъ жалѣть?.. Живыхъ—не жалѣемъ... сами себя пожалѣть-то не можемъ... гдѣ тутъ“! Вы видите, что жалость къ себѣ Лука ставитъ на первомъ мѣстѣ, т. е., выражаясь языкомъ „Проблемъ идеализма“,— утверждаетъ приматъ „я“ надъ „ты“.

*) Пробл. идеализма сс. 109, 111.

Что-же касается отношенія Луки къ этому „ты“, къ ближнимъ, то вы помните, что для него „всѣ блохи не плохи, всѣ черненькія, всѣ прыгаютъ“, но вы ошибетесь, если заключите, что ко всѣмъ онъ готовъ отнестись одинаково любовно...—Нѣтъ, эта фраза означаетъ только, что для Луки не имѣютъ значенія различія внѣшнія: жуликъ передъ нимъ, или „господинъ“, —ему все равно. Но чтобы полюбить (вѣрнѣе— почтить) кого-либо, Лукѣ нужно открыть въ немъ „*человѣка*“ въ сатинскомъ смыслѣ этого слова... „Есть—люди, а есть—иные—и человѣки...“, есть такіе, которымъ хоть „самъ Господь Богъ скажетъ: будь человѣкомъ!.. Все равно никакого толку не будетъ“... Таковы— Костылевы,—и къ нимъ Лука относится съ холодною враждебностью, таковъ — тупоумный Медвѣдевъ,—и для него у Луки есть только шутливое презрѣніе.—Въ ближнихъ Лука любитъ стремленіе къ *правдѣ*, т. е. нравственный законъ своего собственнаго духа, цѣнность, подобную своему „я“ (слова Бердяева).

Зачѣмъ Лука лжетъ? Зачѣмъ, напр., онъ поддакиваетъ нелѣпому разсказу Насти о любви къ ней какого-то Гастоши „въ лаковыхъ сапогахъ?“ Отвѣтъ у Луки готовъ: „не въ словѣ— дѣло, а—почему слово говорится?“—поучаетъ онъ Барона. Почему-же лжетъ Настя? Потому что въ душѣ ея живо стремленіе къ идеалу, къ „настоящей любви“, а это стремленіе характеризуетъ (послѣдній разъ цитирую г. Бердяева) „внутреннее отношеніе человѣка къ са-

мому себѣ, исканіе и осуществленіе своего духовнаго „я“, торжество „нормативнаго“ сознанія въ сознаніи эмпирическомъ“ *).

Вотъ и все. Надѣюсь, что мнѣ удалось показать, какъ много общаго въ міросозерцаніи 12 идеалистовъ и героевъ „На днѣ“, надѣюсь,— вы повѣрите мнѣ, что Лука и Сатинъ охотно бы подписались подъ слѣдующимъ выводомъ г. Бердяева: „Нужно *человѣкомъ* быть и своего права на *образъ и подобіе Божества* нельзя уступить ни за какія блага міра, ни за счастье и довольство свое или *хотя-бы всего человѣчества* (курсивъ мой), ни за спокойствіе и одобреніе людей, ни за власть и успѣхъ въ жизни; и нужно требовать признанія и обезпеченія за собой человѣческаго права на самоопредѣленіе и развитіе всѣхъ своихъ духовныхъ потенцій“ **).

Постараюсь теперь возможно лаконически формулировать выводы:

Успѣхъ произведеній Горькаго вообще, и его „На днѣ“, въ частности, объясняется не художественными ихъ достоинствами (эстетиковъ у насъ мало), а тѣмъ, что въ нихъ отражается идеологія переживаемаго нами историческаго момента. Корни этой идеологіи нужно искать въ реальной жизни. А именно: вопіющее про-

---

*) Проблемы идеализма, с. 106.

**) ibidem, с. 136.

тиворѣчіе внѣшнихъ формъ нашей общественной жизни съ ея внутреннимъ содержаніемъ вызываетъ чувство недовольства въ личности, стремленіе къ ея освобожденію, а отсюда—индивидуалистическій культъ сильной, способной къ борьбѣ личности. Но такъ какъ одинъ въ полѣ не воинъ, и для освобожденія личности нужны дружныя усилія всѣхъ членовъ общества, то провозглашается абсолютная нравственность, основанная на признаніи личности другого, на признаніи „ты“ и своеобразной любви къ нему. На самомъ же дѣлѣ нравственность эта не абсолютна. Къ ней вполнѣ примѣнимы, какъ и ко всякой идеологіи, слова татарина изъ „На днѣ“: „Магометъ далъ Коранъ, сказалъ: вотъ—законъ! Дѣлай, какъ написано тутъ! Потомъ придетъ время,—Коранъ будетъ мало... время дастъ свой законъ, новый... Всякое время дастъ свой законъ“... *)

Что же мнѣ сказать вамъ въ заключеніе? Да вотъ что развѣ. Въ наше время на ряду съ

---

*) Кстати! Н. К. Михайловскій въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Богатства“ особенно подчеркиваетъ, что цитированныя слова *татарина,* конечно, не могутъ принадлежать реальному татарину—крючнику. При чтеніи „На днѣ“ и мнѣ показалось невѣроятнымъ, чтобы простой, неразвитой крючникъ, могъ разсуждать о такихъ матеріяхъ, какъ относительность кажущихся абсолютовъ, о томъ, что „всякое время даетъ свой законъ“. Но не успѣлъ усомниться, какъ уже натолкнулся въ одномъ изъ мартовскихъ номеровъ „Каспія“ на слѣдующія, принадлежащія магометанину г. Агаеву, строки: „Не знаю, изучалъ-ли г. Горькій спеціально татаръ и ихъ міровоззрѣніе, но онъ понялъ ихъ лучше, чѣмъ сами татары—мусульмане пони-

огульнымъ осужденіемъ всего новаго, часто раздаются призывы „вернуться къ старому“, „вспомнить забытыя слова“. Это печальное недоразумѣніе. И я васъ прошу: не старайтесь вспоминать того, что вы забыли, а присматривайтесь къ жизни, изучайте ее—и вы найдете много новыхъ и прекрасныхъ словъ. Вѣдь Лука правъ, заявляя: „И все, гляжу я, умнѣе люди становятся, все занятнѣе... и хоть живутъ все хуже, а хотятъ все лучше... упрямые!.. дай имъ, Господи, терпѣнья!“.

маютъ себя“, и—далѣе—о цитированной фразѣ татарина: „въ этихъ словахъ—вся теорія Ислама, все міровоззрѣніе мусульманъ“...

Прочитавъ это, я устыдился, что узрѣвъ, „умное“, я сейчасъ же отказался признать его свойственнымъ кому-либо кромѣ болѣе или менѣе патентованнаго интеллигента.—Я вспомнилъ пословицы, эти, какъ значится у г. Галахова, „краткія изреченія народной мудрости“, я вспомнилъ глубочайшую философію религій, созданную рыбаками и пастухами, былины, сказки,—вспомнилъ и болѣе прежняго укрѣпился въ убѣжденіи, что истинная мудрость измѣряется не числомъ прочитанныхъ книгъ, и что вполнѣ доступна она даже и неграмотнымъ крючникамъ.

„Мысль“ Л. Андреева.

Прежде всего я считаю необходимымъ предупредить васъ, читатель, что въ задачи моей статьи не входитъ разборъ эстетическихъ достоинствъ и недостатковъ произведенія Л. Андреева. Я не собираюсь ни останавливаться на характерахъ изображенныхъ Андреевымъ лицъ; не буду распространяться на тему, отвѣчаютъ-ли дѣйствія и мысли этихъ лицъ требованіямъ психологической послѣдовательности; не буду сравнивать дневникъ доктора Керженцова съ „Записками сумасшедшаго“ и иными произведеніями психопатологической беллетристики,—все это, я думаю излишне.

Я ставлю себѣ иную цѣль; я хочу прослѣдить доминирующую идею „Мысли“, для развитія которой, кажется мнѣ, и написана эта вещь, идею, которая, если и не можетъ похвалиться новизною, то во всякомъ случаѣ, въ послѣднее время растетъ и интенсивно и экстенсивно, захватывая и покоряя все болѣе широкій кругъ русской интеллигенціи.

Мы, русскіе, какъ и всѣ славяне, народъ увлекающійся. Долгое время мы цѣликомъ отда-

вались народничеству съ его самоотверженнымъ стремленіемъ принести себя въ жертву за «меньшого брата», съ его мистическимъ общиннымъ духомъ и иными устоями. На смѣну народничеству пришелъ къ намъ изъ за границы дѣловой и холодный марксизмъ и подъ его вліяніемъ скоро забыты были и осмѣяны народническія, выспренныя рѣчи и замѣнены холоднымъ и точнымъ, какъ въ математикѣ, разсчетомъ; а разсчетъ этотъ не оставлялъ для марксиста сомнѣнія въ томъ, что ходъ общественнаго развитія предопредѣленъ заранѣе и потому истинному интеллигенту остается только стать на ту сторону, куда влекутъ его классовыя симпатіи, или, если онъ способенъ отрѣшиться отъ нихъ, то на сторону того класса, коему эволюція общественной жизни сулитъ побѣду. Тутъ,—увѣряли марксисты,—на первомъ планѣ вопросы личной выгоды, да и развѣ можетъ быть рѣчь о чемъ иномъ, послѣ того, какъ наука безпощадно разоблачилап розаическую подкладку всякихъ идеалистическихъ чувствъ и настроеній,—составляющихъ не болѣе какъ идеологическую надстройку надъ экономическимъ базисомъ. Но еле успѣло укрѣпиться это матеріалистическое міросозерцаніе, какъ уже сомнѣніе, это неизбѣжное условіе прогресса, стало подрывать подъ нимъ почву, ставя разные коварные вопросы и требуя на нихъ категорическаго отвѣта. Дѣйствительно-ли право, нравственность, общественные идеалы лишь „сказки для бабья“, какъ поетъ Германъ въ „Пиковой дамѣ“, дѣйствительно-ли можно

построить цѣлое міросозерцаніе на основѣ только,— хотя бы и вполнѣ точной и ясной,—научной мысли? Въ поискахъ отвѣта мы теперь уже забрели въ дебри кантовской метафизики, успѣли снова сдружиться съ идеализмомъ, и пересмотрѣли и раскритиковали даже экономическое ученіе Маркса. Все это броженіе отразилось, разумѣется, и на изящной литературѣ, гдѣ все чаще и чаще слышится призывъ къ своего рода опрощенію, приближенію къ стихійной природѣ, гдѣ не щадятъ черныхъ красокъ для изображенія жизни интеллигентныхъ классовъ общества, а идеалы находятъ въ средѣ босяковъ и бывшихъ людей.

Своеобразнымъ откликомъ на новые запросы является и разсказъ Андреева „Мысль“. Самое это заглавіе показываетъ, что здѣсь-то, въ этой самой мысли и центръ тяжести разсказа. Попробуемъ выяснить отношеніе героя разсказа г-на Андреева—доктора Керженцева—къ мысли.

Д-ръ Керженцевъ, какъ сообщаетъ читателю въ нѣсколькихъ строкахъ авторъ, совершилъ убійство и, заподозрѣнный въ умопомѣшательствѣ, былъ помѣщенъ на испытаніе въ психіатрическую лечебницу. Весь дальнѣйшій разсказъ ведется отъ лица самого его героя въ формѣ письменныхъ объясненій экспертамъ, призваннымъ судомъ рѣшить вопросъ относительно состоянія умственныхъ способностей убійцы. Изъ разсказа мы узнаемъ, что отецъ убійцы былъ крайне талантливый адвокатъ, заставлявшій по желанію смѣяться или плакать всѣхъ слуша-

телей за исключеніемъ только сына, тогда еще гимназиста, который не плакалъ и не смѣялся, потому что „зналъ отца и зналъ, что самъ онъ ничего не понимаетъ изъ того, что говоритъ“. Онъ, говоря и далѣе словами д-ра Керженцева, „не понималъ, что онъ человѣкъ, что сейчасъ онъ живетъ, а потомъ умретъ, и ничего не искалъ“. Не понимая собственныхъ даже рѣчей, онъ тѣмъ менѣе понималъ душу своего сына, и это непониманье выразилось между прочимъ въ томъ, что онъ преслѣдовалъ сына и смѣялся надъ нимъ за характерную для того любовь къ порядку и аккуратности, за то, что тотъ былъ неизмѣнно первымъ ученикомъ,—за это, говоритъ Керженцевъ, „онъ крупно ругался, а внутри меня все дрожало отъ презрительнаго хохота, и не безъ основанія дѣлилъ я тогда весь міръ на инспекторовъ просто и инспекторовъ на изнанку“. Одна тетрадь сына могла бы, по его мнѣнію, доставить удовольствіе этому „инспектору на изнанку“;—тетрадь эта была такъ же чиста, какъ и остальныя, но стояло въ ней: „мой отецъ пьяница, воръ и трусъ“ съ соотвѣтственными комментаріями. Для характеристики юныхъ лѣтъ Керженцева остается обратить ваше вниманіе на одну только сцену. Это было въ ночь, когда трупъ его отца стоялъ въ залѣ.

Въ эту ночь юноша Керженцевъ выдержалъ жестокое испытаніе. Онъ рѣшилъ пойти къ любовницѣ своей, горничной Катѣ, спавшей тутъ же по близости, въ комнатѣ, куда явственно доносилось чтеніе дьячка. Ужасъ положенія

усиливался еще и тѣмъ, что эта же Катя была и любовницей отца. И испытаніе, которому подвергъ себя Керженцевъ, было настолько для него важно, что онъ рѣшилъ убить себя въ случаѣ, если бы не совладалъ бы съ собой и, войдя къ Катѣ, не былъ бы готовъ къ поцѣлуямъ, какъ Ромео.

Изъ этихъ краткихъ данныхъ видно, что для Керженцева уже съ дѣтства мысль его была самымъ главнымъ и нужнымъ; посмотрите, съ какой холодной наблюдательностью онъ анализируетъ характеръ своего отца, какъ смѣло его мысль рѣшаетъ освободиться отъ всякихъ традицій и предразсудковъ, какъ она выходитъ побѣдительницей изъ испытанія съ горничной Катей. Васъ не удивитъ, когда, вслѣдъ за описаніемъ этой сцены, Керженцевъ объявляетъ: „я вѣрилъ въ человѣческую мысль и въ ея безграничную мощь. Вся исторія человѣчества представлялась мнѣ шествіемъ одной торжествующей мысли“. Въ одной только мысли — все счастье, вся жизнь необщительнаго, даже нелюдимаго Керженцева. Еще гимназистомъ онъ находилъ наслажденіе въ притворствѣ; симулируя дружбу, онъ выпытывалъ у довѣрившагося ему все, что хотѣлъ, а потомъ „отбрасывалъ отъ себя его душонку и уходилъ прочь съ гордымъ сознаніемъ своей силы и внутренней свободы“. Но не только въ такой безцѣльной гимнастикѣ мысли искалъ Керженцевъ удовлетворенія. Послушайте его: „Даже при обыкновенномъ книжномъ чтеніи я входилъ въ психику изображаемаго лица и, по-

вѣрите-ли?—уже взрослый горькими слезами плакалъ надъ „Хижиной дяди Тома“. Какое это дивное свойство гибкаго, изощреннаго культурой ума—перевоплощаться! Живешь словно тысячью жизней, то опускаешься въ адскую тьму, то поднимаешься на горныя, свѣтлыя высоты, однимъ взоромъ окидываешь безконечный міръ.—Если человѣку суждено стать Богомъ, то престоломъ ему будетъ книга“... Вотъ въ чемъ вѣра Керженцева. И чтобы доказать, что такова именно его вѣра, я приведу еще цитату: „Изъ всего удивительнаго, непостижимаго, чѣмъ богата жизнь, самое удивительное и непостижимое —это человѣческая мысль. Въ ней божественность, въ ней залогъ безсмертія и могучая сила, не знающая преградъ. Люди поражаются восторгомъ и изумленіемъ, когда глядятъ на снѣжныя вершины горныхъ громадъ; если бы они понимали самихъ себя, то больше, чѣмъ горами, больше чѣмъ всѣми чудесами и красотами міра они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочаго о томъ, какъ цѣлесообразнѣе положить одинъ кирпичъ на другой—вотъ величайшее чудо и глубочайшая тайна“.—Человѣку съ такими взглядами, хотя бы онъ и принадлежалъ къ существамъ высшаго порядка, не могущимъ жить безъ высшей обобщающей идеи, очевидно, искать уже нечего; обобщающая идея, Богъ — найдены, это—мысль; остается брать отъ жизни, что она даетъ, остается искать наслажденій, какъ въ своей мысли, такъ и въ мысляхъ иныхъ лю-

дей — въ тѣхъ книгахъ, которыя составятъ престолъ человѣка, если человѣкъ станетъ Богомъ. Такъ и дѣлаетъ д-ръ Керженцевъ, давая своей животной природѣ, своему чувству, лишь самое примитивное удовлетвореніе: онъ любитъ поѣсть, поспать, держитъ женщину и оплачиваетъ ея ласки звонкой монетой, не чувствуя потребности ни въ женской любви, ни въ дружбѣ, ни въ общественныхъ идеалахъ и борьбѣ за нихъ. Зачѣмъ ему все это? Его мысль, какъ остро отточенная рапира, извивается, жалитъ, кусаетъ, раздѣляетъ ткани событій, точно змѣя безшумно вползаетъ въ неизвѣданныя и мрачныя глубины, что навѣки сокрыты отъ дневного свѣта и рукоять этой рапиры въ его рукѣ, въ желѣзной рукѣ опытнаго и искуснаго фехтовальщика. И эта мысль, эта рапира послушна, исполнительна, быстра, и онъ любитъ ее, свою рабу, свою грозную силу, свое единственное сокровище. Ясно, что для такого человѣка, для такого поклонника мысли „an und für sich“, единственной трагедіей въ жизни можетъ быть лишь потеря вѣры въ эту мысль, въ ея силу и правду,— все же остальное, ужасное даже, быть можетъ, съ точки зрѣнія обыкновенныхъ смертныхъ, для д-ра Керженцева только эпизодъ, не заслуживающій особаго вниманія. Вспомните, какъ онъ наслаждался сознаніемъ, что когда-то онъ, богатый студентъ, спокойно укралъ 15 рублей у своихъ нищихъ товарищей и спокойно убѣдилъ всѣхъ, что укралъ не онъ,—и все это было продѣлано съ единственной цѣлью поупражнять

свою мысль, чистую и свободную отъ какихъ бы то ни было условностей; такимъ же эпизодомъ въ жизни Керженцева было бы и убійство, имъ совершенное, если бы не странный переворотъ въ его душѣ, явившійся случайнымъ послѣдствіемъ этого убійства; если бы ему не измѣнила та самая мысль, которая „взнесла его на вершину высокой горы, откуда онъ видѣлъ, какъ глубоко внизу копошились людишки съ ихъ мелкими животными страстями, съ ихъ вѣчнымъ страхомъ передъ жизнью и смертью, съ ихъ церквами, обѣднями и молебнами". Да, Керженцевъ потерялъ своего Бога. Но мы забѣжали впередъ...

Интересно, хоть въ самыхъ краткихъ чертахъ, прослѣдить путь, который привелъ Керженцева къ убійству, сыгравшему въ его жизни столь же роковую роль, какъ и въ жизни Раскольникова, несмотря на полное несходство ихъ характеровъ. — Керженцевъ полюбилъ нѣкую Татьяну Николаевну и рѣшилъ просить ея руки— и ему отказали. Наиболѣе задѣло самолюбіе Керженцева не то, что его предложеніе встрѣтили смѣхомъ,—это еще онъ могъ бы простить, но не могъ простить онъ того, что на смѣхъ женщины онъ тоже отвѣтилъ улыбкой, не могъ онъ этого простить потому, что улыбка была выраженіемъ смущенія, растерянности его, д-ра Керженцева, гордаго своею мыслью передъ лицомъ женщины; а женщинъ, какъ увидимъ ниже, онъ цѣнитъ не высоко. Женщина ввела его въ *ошибку*, отвѣтивъ---нѣтъ, когда онъ разсчитывалъ услы-

шать—да. Мало того, потомъ „она еще разъ заставила его *ошибиться*“, оказавшись счастливой въ бракѣ, устроенномъ Керженцевымъ спеціально съ цѣлью сдѣлать ее несчастной. Я подчеркнулъ слова: *ошибку*, *ошибиться*, потому что, кажется мнѣ, главная причина задуманнаго Керженцевымъ убійства именно въ томъ, что его заставили *ошибиться*, т. е. унизили его богиню—его мысль. И вотъ Керженцевъ ставитъ себѣ новую задачу, самый процессъ рѣшенія которой долженъ доставить ему новое наслажденіе, давъ возможность его мысли еще разъ показать свою всесокрушающую силу.

Анализируя характеръ Татьяны Николаевны, онъ приходитъ къ заключенію, что только смерть мужа можетъ лишить ее счастья. Если онъ сдѣлаетъ его пьяницей (а это не трудно), если онъ привьетъ ему какую-либо болѣзнь, то въ самоотверженномъ уходѣ за мужемъ Татьяна Николаевна все-таки найдетъ удовлетвореніе. Алексѣй Савеловъ,—такъ звали мужа Татьяны Николаевны,—долженъ умереть. Самый фактъ отнятія жизни у человѣка не останавливаетъ Керженцева. То, что отнятіе жизни по общественнымъ взглядамъ и по закону составляетъ преступленіе, т. е. нѣчто очень дурное, не смущаетъ Керженцева, такъ какъ для него самымъ большимъ преступленіемъ, преступленіемъ передъ самимъ собою, было бы, если бы, признавъ умомъ необходимымъ убить Алексѣя, онъ не выполнилъ бы этого рѣшенія. Наконецъ, собравъ тщательно всѣ данныя изъ своего прошлаго,

принявъ въ расчетъ силу своей воли, глубокое презрѣніе къ ходячей морали, Керженцевъ пришелъ къ убѣжденію, что ему нечего бояться самого себя, своихъ нервовъ, раскаянія. Остается обдумать технику рѣшеннаго убійства. Въ умѣ Керженцева возникаютъ новые вопросы, и умъ его легко рѣшаетъ ихъ. Убить надо такъ, чтобы Татьяна Николаевна знала имя убійцы. Вмѣстѣ съ тѣмъ убійца долженъ остаться безнаказаннымъ, такъ какъ онъ любитъ жить, любитъ мыслить и хочетъ долго еще наслаждаться и жизнью и мыслью. Керженцевъ рѣшаетъ притвориться безумнымъ. Для этого онъ долго изучаетъ психіатрію, обдумываетъ мельчайшія подробности своего плана, предвидитъ все, что можно предвидѣть. И все это время онъ продолжаетъ наслаждаться своею мыслью. „Невинная въ своей красотѣ, она отдается ему со страстью, какъ любовница, служитъ ему какъ раба и поддерживаетъ его, какъ друга“.

Д-ръ Керженцевъ симулируетъ очень удачно нѣсколько припадковъ безумія, идетъ къ знаменитому психіатру, легко добивается нужнаго ему діагноза и, наконецъ, спокойно, хладнокровно убиваетъ Савелова въ присутствіи его жены Послѣ убійства онъ возвращается домой и, лежа на диванѣ въ своемъ кабинетѣ, вспоминаетъ всѣ подробности только что сыгранной роли; состояніе у него такое, какъ у актера послѣ блестящаго выхода; онъ, глядя на книги, съ удовольствіемъ думаетъ, что когда-нибудь онъ снова будетъ читать ихъ (очевидно, это будетъ послѣ

того, какъ онъ успѣетъ убѣдить врачей и судей въ своемъ выздоровленіи). Вѣки Керженцева тяжелѣютъ, ему хочется спать, какъ вдругъ въ голову его вползаетъ новая мысль: „А весьма возможно, что д-ръ Керженцевъ дѣйствительно сумасшедшій. Онъ думалъ, что онъ притворяется, а онъ дѣйствительно сумасшедшій. И сейчасъ сумасшедшій“. Здѣсь начинается трагедія. Такъ недавно еще гордый, спокойный и холодный, д-ръ Керженцевъ, какъ бѣшенный, мечется по комнатѣ, рветъ на себѣ платье, бьетъ зеркала, а неумолимая мысль повторяетъ: „ты маленькій, ты злой, ты глупый, ты д-ръ Керженцевъ. Какой-то д-ръ Керженцевъ, сумасшедшій докторъ Керженцевъ“!

И самое страшное для Керженцева было сознаніе, что онъ не знаетъ себя и никогда не зналъ. Пока онъ думалъ, что все его „я“ заключено въ его точной и ясной мысли, онъ зналъ себя и былъ господиномъ. Теперь же, когда онъ увидѣлъ, что въ немъ живетъ еще что—то загадочное, помимо его рѣшающее его судьбу, рождающее *ту* страшную мысль, онъ почувствовалъ себя рабомъ жалкимъ и безсильнымъ. И онъ былъ такимъ, потому что онъ не могъ и навсегда, по собственному его признанію, лишенъ былъ, вѣроятно, возможности узнать, былъ-ли онъ дѣйствительно сумасшедшимъ или притворялся имъ.. Для Керженцева, жившаго одной мыслью, въ ней видѣвшаго все, такое состояніе было равносильно смерти.

Не легко ему видѣть, что пользуясь услугами своей прежней богини — мысли, онъ можетъ одинаково убѣдительно доказать какъ то, что онъ былъ все время сумасшедшимъ, что имъ руководила какая-то чуждая сила, такъ и то, что не было человѣка болѣе здравомыслящаго, чѣмъ онъ. Доказывая и то и другое экспертамъ, онъ кончаетъ раздирающимъ крикомъ; „...вы не вѣрите мнѣ... но и я не вѣрю себѣ, ибо кому въ себѣ я буду вѣрить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служитъ всякому. Онъ годенъ лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сдѣлалъ его своимъ другомъ, своимъ богомъ. Долой съ трона, жалкая безсильная мысль!“...

Да, подлая мысль измѣнила тому, кто такъ вѣрилъ въ нее и ее любилъ. Она не стала хуже: та же свѣтлая, острая, упругая, какъ рапира, но рукоять ея ужъ не въ рукѣ Керженцева. Своего творца и господина она убиваетъ съ тѣмъ же тупымъ равнодушіемъ, какъ онъ убивалъ ею другихъ.

Докторъ Керженцевъ кончаетъ свое объясненіе экспертамъ обѣщаніемъ, въ случаѣ, если они не дадутъ ему возможности попасть на каторгу, найти неслыханной силы взрывчатое вещество и „взорвать на воздухъ проклятую землю, у которой такъ много боговъ и нѣтъ единаго вѣчнаго Бога“.

Вотъ и все, что изъ душевной драмы д-ра Керженцева я хотѣлъ возстановить въ вашей памяти. Устами потерявшаго своего Бога Кер-

женцева Л. Андреевъ ставитъ хотя „старый, но все не рѣшенный вопросъ: гдѣ Богъ, чѣмъ жить?“ И въ отвѣтъ, давъ картину крушенія попытки Керженцева положить въ основу жизни одну только мысль, авторъ въ самомъ разсказѣ даетъ нѣсколько отрывочныхъ указаній на истинное основаніе жизни. Вотъ эти указанія. Въ началѣ разсказа Керженцевъ заявляетъ, что ему всегда удавалось проводить умныхъ людей и только у существъ нисшаго порядка, у женщинъ и у собакъ, онъ никогда не могъ добиться довѣрія. Очевидно, что и женщины и собаки обладаютъ чѣмъ то, дающимъ возможность лучше познать истину, чѣмъ самая совершенная мысль. Въ лечебницѣ послѣ катастрофы Керженцевъ молитъ невѣжественную горничную Машу указать, у кого просить ему помощи? Предвидя отвѣтъ Маши, онъ знаетъ, что для него отвѣтъ этотъ не годится, потому что то, что живетъ въ Машѣ, давно умерло въ немъ и не воскреснетъ. Дѣйствительно ли не воскреснетъ? Изъ дальнѣйшаго видно, что надежда на воскресеніе не совсѣмъ потеряна: Керженцевъ, какъ и Раскольниковъ, стремится на каторгу и ждетъ тамъ чего-то, что дастъ ему возможность жить. Обратите вниманіе, наконецъ, на великолѣпную сценку, которая часто приходитъ на память Керженцеву: въ осенній солнечный день онъ увидѣлъ маленькую дѣвочку, испугавшуюся совсѣмъ уже крохотной собаченки; дѣвочка подбѣжала къ нянѣ, спрятала у ней въ колѣняхъ лицо; и лицо няни было простое и доброе, и она улыбалась Керженцеву. Видѣлъ

Керженцевъ это еще до убійства, и тогда же у него явилось мимолетное *чувство* (а не мысль), будто въ этой сценѣ разгадка бытія, такъ все въ ней было просто и полно кротости и глубины, и задуманное убійство показалось ему холодной и ненужной ложью изъ совсѣмъ другого міра.

Почему же женщины съ ихъ несовершенной, по убѣжденію Керженцева, мыслью, знаютъ нѣчто, чего не знаетъ онъ, почему въ сценѣ съ дѣвочкой и собачкой Керженцевъ видитъ разгадку бытія, наконецъ, что онъ надѣется найти на каторгѣ? Отвѣтъ ясенъ: женщины, дѣвочка, собачка, няня—все это живетъ и судитъ непосредственнымъ чувствомъ, а каторга, съ ея лишеніями и трудомъ, единственное мѣсто, гдѣ, кажется Керженцеву, можетъ воскреснуть въ немъ это непосредственное отношеніе къ жизни, любовь къ ней и людямъ,—все то, чего онъ лишилъ себя, отдавшись культу мысли.

Сдѣлаю маленькое отступленіе.

Отдавая должное глубинѣ и важности разработанныхъ Л. Андреевымъ идей, я не останавливался на оцѣнкѣ самой формы ихъ разработки, т. е. не перечислялъ достоинствъ и недостатковъ разсказа „Мысль“, какъ художественнаго произведенія. Сдѣлалъ это я не нечаянно, а съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, такъ какъ убѣжденъ, что достоинства художественныхъ произведеній тоже постигаются не умомъ, а непосредственнымъ чувствомъ, а потому кто желаетъ судить художественное произведеніе, пусть прочтетъ его самъ и судитъ.

Однако, прежде чѣмъ перейти къ оцѣнкѣ предложеннаго Андреевымъ рѣшенія важнѣйшаго вопроса жизни, я постараюсь отвѣтить на дѣлаемый автору „Мысли“ многими упрекъ. Говорятъ, что разсказъ Андреева не реаленъ, что людей, подобныхъ Керженцеву, не бываетъ. Пусть такъ. Но развѣ художественное произведеніе должно быть копіей жизни? „Намъ нужна не правда, а иллюзія правды“, сказалъ Мопассанъ. Если въ „Мысли“ нѣтъ реальной правды, зато (несмотря на частные эстетическіе недочеты) она правдива художественно. Суть же художественной правды сводится къ тому, что художникъ, дѣлая извѣстное предположеніе, хотябы и не отвѣчающее дѣйствительности, развиваетъ его такъ, что всѣ частности его творенія съ необходимостью вытекаютъ одна изъ другой и вмѣстѣ образуютъ прекрасное цѣлое. Вѣрно или не вѣрно предположеніе Андреева, что человѣкъ можетъ такъ отрѣшиться отъ всякихъ привычекъ, традицій, вообще отъ всего, что не мысль, какъ это сдѣлалъ Керженцевъ, но предположеніе это развито такъ, что вы чувствуете всю необходимость всѣхъ, даже мелочныхъ, подробностей разсказа, не можете не видѣть, съ какой роковой послѣдовательностью идетъ Керженцевъ къ гибели,—а это и характерно для художественнаго произведенія.

Вернемся же къ попыткѣ автора „Мысли“ рѣшить одинъ изъ „проклятыхъ вопросовъ“.— Не мысль, а непосредственное чувство должно лечь въ основаніе отношенія человѣческаго „я“

къ внѣшнему міру; только при этомъ условіи возможна жизнь, полная свѣта, радости и удовлетворенія,—такое рѣшеніе, кажется намъ, предлагаетъ Андреевъ. Рискуя даже быть обвиненнымъ въ обскурантизмѣ, я сознаюсь, что всецѣло согласенъ съ этимъ рѣшеніемъ. Мысль—слуга жизни, а не господинъ,—ею жить нельзя. Мысли должно быть отведено, хотя и почетное, но ограниченное мѣсто. Жизнь сложна; на первомъ мѣстѣ стоитъ потребность въ поддержаніи этой жизни, въ борьбѣ за сохраненіе и улучшеніе ея; и вотъ на этомъ-то пути ясная, сильная мысль человѣческая творитъ чудеса; одинъ за другимъ открываетъ она новые міры, одну за другой открываетъ новыя силы и ведетъ ихъ на служеніе человѣку, анализируетъ человѣческія отношенія, приводитъ ихъ въ систему, сводитъ къ первопричинамъ, но это и все. Жизнь есть движеніе. Кто хочетъ жить, тотъ хочетъ и долженъ двигаться, дѣйствовать. Если это только животное или дикарь, ему нужно только ѣсть или пить. Если это культурный человѣкъ,—онъ хочетъ большаго,—онъ хочетъ любить, быть любимымъ, бороться, побѣждать, передѣлывать жизнь по своему вкусу.

Не мысль можетъ побудить къ этому, а только чувство. Поэтому-то, безъ чувства не можетъ быть жизни, по крайней мѣрѣ, въ истинномъ значеніи этого слова, — возможно только жалкое прозябаніе. Быть можетъ, мнѣ скажутъ: „да, мы согласны съ вами, мыслью жить нельзя; но вѣдь живутъ же люди вѣрой

въ Бога, въ человѣчество, въ безсмертіе души и т. п.“.

Да, но вѣдь вѣра-то эта только тогда опредѣляетъ и осмысливаетъ жизнь, когда она основана на непосредственномъ чувствѣ, а не на болѣе или менѣе убѣдительныхъ доказательствахъ бытія Бога, безсмертія души, или необходимости въ нихъ вѣрить. Въ этихъ вещахъ роль мысли чисто служебная. Если вы *хотите* вѣрить въ Бога, если ваше непосредственное чувство твердитъ вамъ, что душа ваша безсмертна, то тогда и мысль придетъ на подмогу, предложитъ вамъ какое-либо доказательство, логическую систему, за которую вы, конечно, и ухватитесь.

Но странно было бы, если бы, признавъ мысль только слугой жизни, мы при ея же помощи надѣялись бы найти абсолютныя основанія этой жизни, ея смыслъ, разгадать тайны, скрытыя за предѣлами видимаго міра, съ которымъ только и можетъ имѣть дѣло человѣческая мысль. Выдумывать Бога нельзя, надо Его чувствовать. Писать же метафизическія книги и путемъ пріемовъ научнаго мышленія говорить за или противъ Него—только смѣшно; это—умаленіе Бога, это—умаленіе науки, мысли человѣка, сильной и властной на своемъ мѣстѣ, темной, косноязычной и жалкой въ погонѣ за безконечнымъ. Вспомните философскія доказательства бытія Бога: онтологическое, телеологическое и т. п. Способны-ли они убѣдить кого бы то ни было? Да и зачѣмъ они для того, кто умѣетъ любить, ненавидѣть и сильно же-

лать? Жизнь и безъ нихъ не потеряетъ для него цѣны, онъ возьметъ отъ нея все, что возможно.—Отвѣчая на вопросъ какой-то дѣвицы: „какъ жить?“ Толстой сказалъ: „живи не выше себя“, т. е. живи такъ, чтобы каждый твой поступокъ, каждое слово вытекали изъ твоего чувства; не дѣлай и не говори, чего не диктуетъ тебѣ чувство, ибо это будетъ ложь, а ложью жить нельзя. Если ты чувствуешь только скромное желаніе прожить въ тѣсномъ семейномъ кругу, любишь только своихъ близкихъ, не пытайся стать борцомъ за человѣчество, ибо изъ этого выйдетъ только ложь, которая разобьетъ твою же жизнь. Что твердитъ другой властитель думъ—Горькій? Не потому-ли онъ отворачивается отъ интеллигенціи и ищетъ идеаловъ въ средѣ пропойцъ и босяковъ, что тамъ люди умѣютъ чувствовать, умѣютъ хотѣть для себя, а иногда и для другихъ. Умны ли, начитаны ли его герои? Нѣтъ—только всякій шагъ, жестъ, слово ихъ вытекаютъ изъ непосредственнаго чувства, и этимъ они дороги и потому, встрѣчаясь съ такими людьми, мы начинаемъ снова вѣрить въ жизнь, въ лучшее будущее. Сравните Илью и Павла въ повѣсти Горькаго „Трое“; какая громадная разница въ ихъ характерахъ, въ отношеніяхъ каждаго изъ нихъ къ людямъ, а соотвѣтственно тому и въ судьбѣ! Одинъ продолжаетъ жить и любить, а другой (Илья), не понявъ жизни, возненавидѣвъ всѣхъ, потерявъ почву подъ ногами, нелѣпо разбиваетъ себѣ голову объ уголъ каменнаго дома. Еще примѣръ:

вспомните время голодовокъ, когда каждый день приносилъ съ разныхъ концовъ Россіи извѣстія одно ужаснѣе другого. Тамъ не ѣли по недѣлямъ, а тамъ уже люди мрутъ, какъ мухи. Чувство влекло всѣхъ, кто не успѣлъ еще увязнуть по уши въ болотѣ жизни, бросить все и итти туда, гдѣ такъ нужна помощь. Что же было дѣлать теоретику, рѣшившему на основаніи научныхъ выкладокъ, что „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“: неужели итти устранять то „хуже“, которое ведетъ къ прекрасному, какъ сонъ, будущему? И шли, но, можетъ быть, не безъ сомнѣній, не безъ колебаній. А между тѣмъ такихъ колебаній не было бы, если бы не несоотвѣтственное мѣсто, которое въ своемъ міросозерцаніи они отвели мысли.

Намъ остается досказать еще немногое. Если жизнью должно править чувство въ различныхъ его формахъ (любовь, ненависть, вѣра и т. п.), то въ правѣ-ли мысль анализировать эти формы, объяснять ихъ происхожденіе, если эти объясненія сводятъ нашихъ идоловъ съ неба на землю? Въ правѣ-ли мысль открывать влюбленному, что въ основѣ его чувства лежитъ простое физіологическое явленіе, въ правѣ-ли она борцу за лучшее будущее общества или его части сказать, что всѣ его идеалы носятъ ярко выраженный классовый характеръ, что нравственность есть въ лучшемъ случаѣ результатъ того случайнаго обстоятельства, что люди живутъ въ обществѣ? Да, въ правѣ. Это нужно для науки, а наука—слуга жизни, слѣдовательно, это нужно

для жизни. Да, наконецъ, человѣкъ не стоилъ бы названія человѣка, если бы боялся знанія, если бы останавливался передъ чѣмъ бы то ни было. Нѣтъ, онъ долженъ итти впередъ. Но вѣдь такъ мы узаконяемъ разладъ между мыслью и чувствомъ? Ну, что-жъ, не будемъ бояться страшныхъ словъ. Предоставимъ г-мъ Манилов-вымъ отыскивать и находить гармонію въ жизни, а сами не будемъ скрывать отъ себя и другихъ, что жизнь полна противорѣчій и что слишкомъ велика и сложна она, чтобы уложиться въ какія бы то ни было рамки. Пусть наука твердитъ намъ, что не солнце ходитъ вокругъ земли, а наоборотъ земля неизвѣстно зачѣмъ вертится вокругъ солнца, а все-таки и въ стихахъ и въ прозѣ мы будемъ славить *восходъ* и *закатъ* солнца, хотя и въ противорѣчіи съ наукой, но не нарушая ея правъ.—Не нарушимъ мы этихъ правъ и тѣмъ, что, руководясь категорическими—субъективно—велѣніями чувства, будемъ забывать объ относительности и условности этихъ чувствъ, доказанныхъ наукой. Ученый, сидя въ своемъ кабинетѣ, доказываетъ, какъ дважды два четыре, что есть разница только въ степени между заповѣдью: „люби ближняго, какъ самого себя“ и моралью бушмена, гласящей: „зло—если ближній украдетъ мою жену, добро—если я украду жену ближняго“,—но тотъ же ученый, выйдя изъ кабинета, обращаясь съ рѣчью къ толпѣ, будетъ призывать ее къ дѣйствію во имя *абсолютной* любви, правды и добра; и тогда только толпа пойдетъ за нимъ, когда онъ сумѣетъ дѣй-

ствительно зажечь ее силой своего чувства. Вотъ еще примѣръ несогласія между мыслью и чувствомъ изъ біографіи Ибсена: „женился въ 1858 г. и былъ очень счастливъ въ брачной жизни“,—и нѣсколько далѣе: „былъ яростнымъ врагомъ тѣхъ формъ жизни, которыя... обезличиваютъ современныхъ людей—*семьи*, основанной на романической лжи“ и т. д. Да мало ли такихъ примѣровъ!

Вернемся еще разъ къ экономическому матеріализму, о которомъ мы вскользь говорили выше. Развѣ не доказываетъ это ученіе,—и это цѣнный вкладъ его въ сокровищницу человѣческой мысли,—что добро, свобода, равенство, братство—понятія, которыя въ разныя историческія эпохи и у различныхъ общественныхъ классовъ наполняются различнымъ содержаніемъ: нынѣ для капиталиста идеалъ равенства въ томъ, чтобы и онъ, и рабочій подчинялись однимъ законамъ и были одинаково свободны въ заключеніи всякаго рода юридическихъ сдѣлокъ, а рабочій полагаетъ, что равенство будетъ достигнуто только экспропріаціей капиталистовъ и обобществленіемъ орудій производства.

И вотъ, доказавъ всю относительность идеологическихъ положеній, послѣдовательному матеріалисту уже не приходится ими же пользоваться, какъ исходными точками своихъ разсужденій о должномъ и не-должномъ, такъ какъ исходя, напримѣръ, изъ идеи равенства, какъ оно понимается пролетаріатомъ, онъ услышитъ весьма вѣское возраженіе: почему же вы не говорите

о равенствѣ въ капиталистической и мелкобуржуазной его концепціи? На самомъ дѣлѣ указаннаго затрудненія для экономическаго матеріализма не существовало, такъ какъ свои идеалы онъ признавалъ общеобязательными не въ силу ихъ внутреннихъ достоинствъ, а въ силу того, что эволюція общественной жизни съ необходимостью ведетъ къ ихъ осуществленію, а дѣйствія отдѣльныхъ лицъ и даже цѣлыхъ группъ могутъ только замедлить или облегчить „муки родовъ“ новаго общественнаго строя изъ нѣдръ отживающаго.

Казалось бы,—вотъ ученіе, не оставляющее мѣста для обманчиваго чувства, такъ въ немъ все ясно, точно и логически обосновано. А между тѣмъ и оно получило широкое распространеніе не силою своей логики и научной точности, и къ нему примѣнимы слѣдующія слова французскаго соціолога Густава Ле-Бона: „не свѣтомъ мысли преобразовывался міръ. Между тѣмъ какъ философскія системы, построенныя на разсужденіяхъ, сыгравъ самую незначительную роль въ жизни народовъ, быстро кончали свое эфемерное существованіе,—религіи, основанныя на самыхъ странныхъ химерахъ, положили неизгладимую печать на всѣ элементы всѣхъ цивилизацій и нынѣ продолжаютъ держать во власти своихъ законовъ громадное большинство людей. Дѣло въ томъ, что философскія системы предлагаютъ толпѣ только аргументы, а душа человѣческая хочетъ только надеждъ. Религіи всегда предлагали надежды,

онѣ давали идеалъ, способный увлечь и возвысить людскія души. Чары религіи создавали могущественнѣйшія государства, рождали перлы литературы и искусства, составляющіе общее сокровище цивилизованныхъ народовъ. Такія-же надежды предлагаетъ и соціализмъ, и въ этомъ его сила" *). Далѣе Ле-Бонъ развиваетъ свой взглядъ на соціализмъ, какъ на ученіе религіозное, ведущее не къ умственному убѣжденію, а къ *чувству вѣры*. И едва-ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что дѣйствительно это ученіе, такъ зло осмѣявшее всякую идеологію, распространилось и окрѣпло не силою логики, а силою чувства.

Вижу, что слишкомъ безцеремонно злоупотребляю вашимъ терпѣніемъ, тратя столько словъ, чтобы убѣдить васъ, что господинъ жизни не мысль, а чувство, и при томъ чувство непосредственное, т. е. рождаемое самой жизнью, близостью къ природѣ и людямъ, а не книгой. Отсутствіе общественной жизни, юридическая и фактическая изолированность русскаго интеллигента, замѣна съ ранняго дѣтства непосредственнаго знакомства съ природой и людьми—книгой, дѣлаютъ то, что и до сихъ поръ къ нему вполнѣ примѣнимы слова поэта: „Что ему книга послѣдняя скажетъ, то на душѣ его сверху и ляжетъ: вѣрить, не вѣрить—ему все равно, лишь-бы доказано было умно!».

---

*) Psychologie du Socialisme, par Gustave Le-Bon Paris 1902. Préface p. XI

Да, бѣда съ этой книгой! Но, кажется, мы уже приходимъ къ сознанію, что съ ней одной далеко не уйдешь.

Вотъ и г-жа Галина въ сентябрьской книжкѣ „*Міра Божьяго*“ поетъ:

„Мнѣ наскучили книги людей—
Я читаю одну только сказку природы,
На родномъ языкѣ красоты и свободы—
Сказку солнца, цвѣтовъ и вѣтвей“...

Богъ въ помощь! Да не слова ли это только?

Дев. Гос. Ун-т
Научная
библиотека им.
Горького

[1=]

«Дѣтская библіотека» Н. Г. Вучетича.

№ 1. **Соловей**, съ рисункомъ Н. Д. Кузнецова. Ц. 20 к.*)

№ 2. **Злой человѣкъ**, разсказъ для дѣтей, съ рисун. Н. Н. Герардова, Ц. 20 к.*).

№ 3. **Божіи дѣти**, съ 4-мя рисунками Ждаха. Ц. въ обложкѣ 15 к., въ папкѣ 20 к.*).

№ 4. **Кузя**, съ 3-мя рисун. Н. Б. Ц. въ обложкѣ 15 к., въ папкѣ 20 к.*).

№ 5. **Двѣ легенды**, съ 3 рисунками Г. А. Ладыженскаго. Ц. въ обложкѣ 15 к., въ папкѣ 20 к.

№ 6. **Нордъ-Звѣзда**, разсказъ изъ жизни приволжскихъ охотниковъ, съ 4 рисунк. Г. А. Ладыженскаго. Ц. въ обл. 30 к., въ папкѣ 35 к.*).

«Народная библіотека» В. Н. Маракуева.

Диккенсъ, Ч. Смерть пьяницы. Ц. 3 к.**).

Оржешко, Е. Могучій Самсонъ. Ц. 10 к.**).

Одюбонъ, Ж. Ж. Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ. 8 разсказовъ. Ц. 20 к.**).

Шюре. Сакія-Муни, древній мудрецъ (легенды о Буддѣ). Ц. 20 к.**)

Маракуевъ, В. Полѣсье и полѣщуки (изъ путевыхъ записокъ). Чтеніе для школъ. Ц. 15 к.**).

Наль и Дамаянти. Индѣйскія повѣсти. Ц. 10 к.**).

Костаревъ, А. И. Какъ выгоднѣе крестьянамъ землю обрабатывать. Ц. 10 к.**).

Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома. Ц. 15 к.**).

Сказки Перро. Ц. 35 к.

Борскій, И. Максимъ-Самоучка или Дошелъ до дѣла. Изд. 5-е. Ц. 8 к.

Висковатовъ, А. А. Питкернскіе заговорщики или Бунтъ въ Океанѣ (историческое событіе). Изданіе 2-е. Ц. 6 к.

Куперъ Фениморъ. Послѣдній изъ могиканъ. Изд. 5-е. Ц. 12 к.**).

Висковатовъ. Какъ люди научились писать. Ц. 8 к.**).

Висковатовъ. День въ римскомъ циркѣ. Ц. 7 к.**).

Диккенсъ. Ночь на Рождество. Ц. 5 к.**).

Лазаревичъ Л. За народомъ не пропадетъ. Ц. 5 к.

Сенкевичъ Г. Мальчикъ Геркулесъ (Орсо). Изданіе 3-е. Ц. 5 к.

Первое плаваніе капитана Форстера (съ 8-ю картинами). Изд. 3-е. Ц. 5 к.

Несгораемыя крестьянскія постройки (Какъ крестьянамъ улучшить свои жилища). Изд. 4-е. Ц. 10 к. **).

Графъ Л. Н. Толстой. Кавказскій плѣнникъ (быль). Изд. 6-е. Ц. 5 к.

Робертъ Боллъ. „Страна звѣздъ“—Солнце. (Переводъ съ англійскаго). Изд. 3-е, пересмотрѣнное. Ц. 20 к.

Робертъ Боллъ. „Страна звѣздъ“—Луна. (Переводъ съ англійскаго). Изд. 3-е, пересмотрѣнное. Цѣна 20 к.

---

*) Одобр. Мин. Нар. Просв. для ученическихъ библіотекъ низшихъ учебныхъ заведеній и для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ.

**) Одобр. Мин. Народн. Просв. для библіотекъ народныхъ школъ и для ученическихъ библіотекъ.

См. на оборотѣ.

Графъ Л. Н. Толстой. Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Ц. 3 к.
Робинзонъ-Крузо. Ц. 10 к.**).
Донъ Кихотъ Ламанчскій. Ц. 15 к.**).
Гётте, А. Зоологія. Ц. 50 к.
Зандъ, Ж. Крылья мужества. Ц. 15 к.
Арабскія сказки. Чудесная лампа.—Злой волшебникъ Мограби.—Три задачи. Ц. 15 к.**)
Русскія народныя сказки (по Аѳанасьеву и др. сборн.). № 2. Ц. 5 к.
Русскія сказки (по Аѳанасьеву и др. сборникамъ). Ц. 6 к.
Малороссійскіе разсказы (юмористическіе). Ц. 3 к.
Сельское огородничество. Ц. 10 к.
Готорнъ. Чудесная кружка. Ц. 7 к.
Готорнъ. Золотое руно. Ц. 10 к.
Готорнъ. Дѣтскій рай. Ц. 7 к.
Сакунтала, или узнанная по кольцу. Индійскія повѣсти. Ц. 8 к.*)

3. Разныя изданія.

А. А. Басни Крылова на сценѣ дѣтскаго театра. Ц. 15 к.
Литературная хрестоматія для всѣхъ (Пособіе для устройства образовательныхъ литературныхъ чтеній въ учебныхъ заведеніяхъ, аудиторіяхъ и семьѣ). Томъ I-й, выпуски I-й и 2-й. Ц. каждаго выпуска по 1 р. 25 к.
Гельманъ, Григорій. Стрѣлочникъ Данило, разсказъ. Ц. 10 к.
Кольцовъ, А. В. Полное собраніе стихотвореній. Съ портретомъ и рисунками въ текстѣ. Ц. 10 к.
Лазаревскій, Б. Забытые люди (очерки и разсказы). Ц. 60 к.
200 найкращихъ украинськыхъ писень. Ц. 15 к.
Тетради для чистописанія, составленныя по образцамъ, выработаннымъ, по распоряженію г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа, спеціально назначенною имъ Коммиссіей изъ преподавателей искусствъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній и исполненныя подъ наблюденіемъ преподавателя А. П. Ладнова. Тетради состоятъ изъ 6-ти номеровъ и *одобрены Учен. Ком. Мин. Народн. Просв. къ употребленію въ качествѣ учебнаго пособія для учащихся.* Ц. за сотню тетрадей первыхъ 5 номеровъ по 4 р. 50 к. (для училищъ 4 р.), а 6-го номера по 9 р. (для училищъ 8 р.).
Тетради всѣхъ графленій для гимназій и низшихъ учебныхъ заведеній.

Общество издаетъ ежегодно дневные и мѣсячные календари.

Земскимъ и городскимъ Управленіямъ, книгопродавцамъ и вообще оптовымъ покупателямъ—обычная уступка.